

ЮРИЙ ГЕРМАН

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ

ЮРИЙ ГЕРМАН

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ

Для младшего школьного возраста

Художник
ЕВГЕНИЙ АНОСОВ

КИЕВ «ВЕСЕЛКА» 1987

84Р7—44
Г38

Русский советский писатель Юрий Герман написал много книг. Одним из самых любимых героев писателя был Ф. Э. Дзержинский. В Дзержинском Германа привлекала всегда его вера в человека. Ему, пламенному революционеру, председателю ВЧК, сподвижнику Ленина, он посвятил много произведений для взрослых и детей.

Печатается по изданию:
Ю. Герман. Рассказы о Дзержинском.
Л., «Детская литература», 1985.

Г $\frac{4803010102-003}{М206(04)-87}$ 46.87.

...Если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал.

(Из записи Ф. Э. Дзержинского в дневнике [X павильон Варшавской цитадели] 31 декабря 1908 года)

КОФЕ С ПИРОЖНЫМИ

Они встретились в Варшаве, в парке, в морозный зимний вечер и сразу узнали друг друга, несмотря на то что не виделись много времени.

Поцеловались и смущённо помолчали. Никогда раньше они не целовались.

— Вот так встреча,— наконец сказал Россол.

— Да уж,— ответил Дзержинский.

Они стояли в широкой аллее парка, над ними свешивались ветви деревьев, покрытые инеем, их толкали люди, бегущие на каток и с катка. Внизу, на озере, гремел духовой оркестр, празднично блистал изрезанный коньками лёд, сквозь ветви деревьев были видны лёгкие и стройные фигуры конькобежцев.

— Что ты тут делал?— спросил Дзержинский.

— Смотрел. А ты?

— Я шёл смотреть.

— Пойдём покатаемся,— предложил Россол.

— Нельзя. В таких местах можно легко наскочить на филёра [1]. Посидим тут.

Сели на холодную, обмёрзшую скамью. За то время, пока они не виделись, у Россола ввалились щёки, глаза смотрели теперь жёстче, подбородок стал выдаваться вперёд.

— Что с тобой, Антон?— спросил Дзержинский.— Ты похудел, изменился.

— Болен,— коротко ответил Россол.

— Чем?

— Чахоточкой, как говорит один мой знакомый фельдшер.

Россол усмехнулся, боком взглянул на Дзержинского и вдруг сказал:

— Я тебя очень люблю, Яцек.

— И я тебя очень люблю,— просто и спокойно ответил

[1] Тайного агента полиции.

Дзержинский.— И у меня есть одно предложение тебе — угадай какое?

— Поехать в Италию лечиться,— грустно улыбнулся Россол,— или не верить врачам, которые всё врут. Да? Это ты хотел сказать?

Но Дзержинский хотел сказать совсем не это. Поблёскивая глазами, он предложил устроить пир в честь свидания друзей. Идёт? В конце концов, один раз в жизни можно себе позволить небольшой пир. Чёрт побери, уже полгода он не ест досыта! И кроме того, ужасно хочется кофе. Натурального чёрного кофе. Он так согревает и так поддерживает силы! Не правда ли?

Шли медленно, не торопясь, вспоминали Ковно, Вильно, тамошние фабрики, стариков сапожников, работу, юность.

Разговаривая и вспоминая, вышли из парка на улицу и остановились у кафе, которое показалось им недорогим.

— Сюда?— спросил Дзержинский.

— Сюда,— решительно ответил Россол.

Дзержинский оглянулся. Сзади было «чисто», как говорили в тех случаях, когда по следу не шёл филёр.

Россол отворил тяжёлую дверь с цветными стёклами и первым вошёл в низкое, сводчатое помещение, в котором седой и благообразный швейцар снимал с посетителей пальто и шубы.

— Снимем пальто?

Швейцар уже вышел из-за загородки и стоял готовый принять платье гостей.

— Снимем,— согласился Дзержинский.

Раздеваться было очень неприятно: куртка Дзержинского была подбита протёртым «рыбьим мехом» с большими лысинами, а главное, у неё сегодня, как назло, оторвалась подкладка рукава — вата вместе с какими-то тряпочками — и всё это висело на нитках как нечто самостоятельное и к куртке не имеющее никакого отношения.

Приняв от Дзержинского куртку и назвав её почему-то редингтотом, швейцар вправил ей рукав, покачал головой и начал раздевать Россола — снял с него тоненькое потёртое пальто, потом ватный пиджачок солдатского образца, потом стёганный на фланели жилет. Лицо у швейцара сделалось непроницаемым.

Кафе было маленькое и почти пустое. Под матовыми колпаками горели газовые лампы. В красном кирпичном камине жарко потрескивали смолистые поленья. Столик у камина, покрытый свежей скатертью, был свободен, и приятели, усевшись, протянули ноги к огню. Потом оглядели друг друга.

— Почему это на тебе студенческая тужурка?— спросил Дзержинский.

— Купил у старьёвщика,— ответил Россол.— Нельзя же ходить голым.

Только здесь они оба почувствовали, как устали за этот день, как продрогли, как хочется поесть и погреться возле камина у огня.

— А тут шикарно,— сказал Россол.— Я бы с удовольствием просидел здесь целый вечер.

— Даром не позволят сидеть,— произнёс Дзержинский.— Если сидеть, так надо есть и пить.

Подошла официантка с крахмальной наколкой на голове и в крахмальном белом фартучке.

— Дайте карту кушаний,— сказал ей Россол с таким видом, точно всю жизнь только и делал, что болтался по кафе.

И, прищурившись, стал читать названия кушаний — мясных, рыбных, овощных, которые шли в карточке перед сладкими, пирожными и печеньями.

— Нет, мясо на ночь тяжеловато,— сказал Дзержинский, хоть с утра он ничего ещё не ел, кроме пирога с печёнкой, купленного утром у торговки на улице,— мясо не стоит, вот разве что-нибудь лёгкое из рыбы. Прочитай-ка, что у них есть рыбное...

Россол прочитал ещё раз, но они так ничего и не нашли подходящего и остановились на двух яичницах с колбасой.

— Это, пожалуй, будет полегче,— согласился Россол.

После яичниц они заказали по стакану кофе — Дзержинский чёрного, а Россол со сбитыми сливками — и по пирожному. Пирожные пошли выбирать к стойке.

Каких тут только не было пирожных: миндальные, и ореховые, и шоколадные, и слоёные, и корзиночки, и с заварным кремом, и с засахаренными фруктами... Выбирать пришлось довольно долго.

— Мне вот это — с кремом и с фисташками,— сказал наконец Россол,— на вид оно довольно привлекательное, каково-то будет на вкус...

— А мне миндальное,— сказал Дзержинский.

Они вновь сели у камина. Но официантка в наколке всё не уходила...

— Почему она не уходит?— шёпотом спросил Дзержинский у Россола.

— Наверное, у нас с тобой такой шикарный вид, что она не прочь сначала получить деньги.

Дзержинский покраснел и вынул из кармана деньги.

— Получите,— сказал он,— и поторопитесь, барышня!

Официантка ушла; она действительно не верила этим гостям: слишком уж у них неважные костюмы, у этих господ, и слишком голодные лица. Нет уж, с таких всегда полезно получить деньги вперёд.

Россол сидел, повернувшись лицом к камину, и не мигая смотрел на огонь.

— Это смешно,— вдруг сказал он,— это смешно, Яцек, что она не поверила тебе. Не поверила человеку, который...

— Брось, Антон,— сказал Дзержинский.

Он вынул папиросу, хотел закурить, но не нашёл спичек в кармане. У Россола спичек тоже не было.

— Пойди, там у окна сидит толстый человек и курит,— сказал Россол,— прикури у него.

Дзержинский приподнялся, но тотчас же вновь сел и быстрым шёпотом сказал Россолу:

— Там филёр. Когда мы вошли, его не было. Не оборачивайся. Он делает вид, что читает газету, на самом деле он ничего не читает, а смотрит в зеркало и следит за нами. Надо уходить. Живо!

В это время вошла официантка с подносом. На подносе стояли сковородки с яичницей, хлеб, соль. Яичница шипела на сковородках.

— К сожалению, мы должны уйти,— сказал Дзержинский,— вы слишком нас задержали.

Официантка широко раскрыла глаза.

— Теперь уже быстро,— сказала она,— теперь всё будет в одну минуту!

Но странных гостей уже не было. Они шли к дверям. Филёр тоже встал.

Они одевались все вместе — усатый, с торчащими ушами филёр, Дзержинский и Россол. Россол одевался первым; сначала он надел свой жилет на фланели, потом ватник, потом пальто. Дзержинский стоял в это время рядом с филёром, бок о бок, посвистывал и глядел в его кофейные глаза. Своё пальто-куртку он не надел: слишком долгая возня с рукавом. Он медленно взял пальто из рук швейцара и сразу же вслед за Россолом выскочил на улицу. В дверях он слышал, как филёр бешеным голосом крикнул обалдевшему швейцару:

— Мою шубу, дурак!

Одеваясь на бегу, Дзержинский догонял Россола. Когда поравнялся с ним, сказал:

— Сюда, в ворота! — и вбежал в калитку тёмного и грязного двора. Это был, по счастью, знакомый проходной двор. Здесь, в подворотне, они оба на секунду остановились. Россол задыхался: больные лёгкие плохо работали.

— Вот что, Антон,— быстро заговорил Дзержинский,— ты беги дальше, а я пойду не торопясь. В случае чего, я задержу филёра. Одним словом, если я сяду в тюрьму, ничего страшного не произойдёт. А если ты, с твоими болезнями...

— Перестань,— сказал Россол.

Не слушая Дзержинского, Россол взял его за руку и потащил за собой. Теперь они бежали по обледенелым булыжникам проходного двора, мимо помойной ямы, мимо деревянных сараев, мимо каретников и сваленных ящиков. Антон совсем задыхался.

— Ещё немного,— говорил Дзержинский,— теперь близко.

Миновали вторые ворота и на ходу вскочили в вагон конки. Вагон был пуст. Россол рухнул на скамью.

— Кажется, ушли,— сказал он, отдышавшись.

— Ушли,— подтвердил Дзержинский.— Тебе легче?

Россол не ответил. Долго ехали молча. Потом Антон спросил:

— Тебе жаль пирожных?

— Ужасно,— печально ответил Дзержинский.— Этот кофе, и яичница, и пирожные — так и стоят перед глазами. И главное, мы уже заплатили!

Они доехали до окраины города и в мелочной лавке ку-



пили хлеба и колбасы. Пришлось есть на улице. Колбаса была невкусная — солёная и жёсткая, хлеб чёрствый. Поели и принялись обсуждать, как быть с ночёвкой. Где ночевать?

Ночевали в ночлежке за пять копеек. А наутро Дзержинский прощался с Антоном Россолом: вдвоём было куда опаснее, чем одному.

Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестаёт бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь. Лишь тогда человек будет ходить по земле с открытыми глазами и всё увидит, услышит и поймёт, тогда только он выйдет на свет из своей узкой скорлупы и будет ощущать радости и страдания всего человечества и только тогда будет действительно человеком.

⟨...⟩ Печаль, грусть — это жизненная необходимость для человека, но если он понимает людей и себя, то в душе у него будет сиять ясный солнечный день и не будет места какой-либо безнадёжности. Тогда и в дорогих ему людях он сможет пробудить возвышенные стремления, дремавшие дотоле, и показать им путь к настоящему счастью.

(Из письма Ф. Э. Дзержинского сестре Альдоне
[X павильон Варшавской цитадели]
16 июня 1913 года)

Никогда и нигде не щадя себя, рискуя неоднократно своей жизнью, Феликс Эдмундович в то же время всегда и везде заботился о других. Сидя в 1900—1902 годах в Седлецкой тюрьме, он, сам больной туберкулёзом, заботился о своём тяжело больном товарище, молодом рабочем Антоне Россоле...

(Из воспоминаний С. С. Дзержинской, жены и соратника Ф. Э. Дзержинского)

ПРОГУЛКИ ПО ДВОРУ

В Седлецкой тюрьме он сидел вместе с Антоном Россолом. Чахотка с беспощадной быстротой делала своё дело. Россол умирал. Он почти уже не поднимался с дощатого лежака, заменяющего в камере койку, по ночам его мучило кровохарканье, после которого он терял последние силы; есть ему не хотелось. Часами он лежал неподвижно, глядя в грязную тюремную стену, и думал одну и ту же думу.

Тяжело умирать в двадцать лет.

Невыносимо страшно умирать в тюрьме, вдалеке от родных и близких людей, умирать за решёткой, под звон кандалов, под хриплую брань надзирателей, под крики товарищей, уводимых на казнь.

И умирать весною, когда за тюремным окном в решётках расцветают каштаны, когда небо с каждым днём становится всё голубее и прозрачнее, когда воздух там, на воле, так свеж и чист,— вот в эту пору умирать в тюрьме!

Человеческая жестокость ни с чем не сравнима. Россола, конечно, можно было выпустить на поруки, и кто знает, в деревне, на травке, на парном молоке вдруг бы он спасся, вырвался бы из лап смерти, а если бы и не спасся, то хоть надеялся бы на спасение. Но его не выпускали на том основании, что он безнадёжен и что на воле делать ему нечего, кроме как умирать. А умереть он может с успехом и в тюрьме, и не только с успехом, а и с пользой для государства, так как перед смертью он авось испугается и заговорит о том, о чём не хочет говорить сейчас, назовёт имена людей, даст возможность выслужиться жандармскому ротмистру, ведущему дело, поможет упечь в тюрьмы десяток-другой тех, которым ненавистно самодержавие.

И его держали в тюрьме.

Ноги отказывались служить ему, он не мог передвигаться, и всё-таки его держали за решёткой.

На двери камеры висел замок, и много раз в день открывался волчок в двери — надзиратель заглядывал: всё ли в



порядке, не роет ли чахоточный Россол подкоп, не перепиливает ли решётки на окне.

Он совсем ослабевал порою, но следователь-жандарм допрашивал его всегда в присутствии выводного — по той причине, что таким нечего терять, что они на всё способны и что с ними нужно поосторожнее.

Изнуряющие кровохарканья мучили его по ночам, а тюремный врач Оберюхтин, писавший в журнал статейки по вопросам симуляций, искал симуляцию и здесь, а когда не нашёл, то перестал интересоваться больным и даже перестал навещать его.

В больницу Россол не хотел. Он уже побыл там недели две и вернулся оттуда по собственному желанию. Там было ещё страшнее, чем здесь. Там было так чудовищно плохо, что Антон только махнул рукой, когда Дзержинский спросил, почему он вернулся. Махнул рукой, лёг на свой лежак, закрыл глаза и сказал: «Здесь как в раю».

Легко можно было представить себе больницу, если тут было «как в раю».

Однажды под вечер Россол вдруг сказал:

— Пожалуй, это всё из-за порки.

— Из-за какой порки?— не понял Дзержинский.

— Разве я тебе не говорил?

— Ничего не говорил...

— Тут как-то ещё до твоего прихода,— не торопясь начал Россол,— зашёл ко мне начальник тюрьмы. Ну-с, сел, заговорил. Как поживаете, то да сё. Я помалкиваю, слушаю; он рассуждает насчёт самодержавия, что царь — это хорошо, революция — это плохо,— знаешь их разговоры. Я с ним не спорю. «Ну тебя,— думаю, — к лешему». Дальше — больше, спрашивает меня, что мы с ним сделаем, если революция победит. Я думаю, шутит, несерьёзно спрашивает. Взглянул на него — вижу, нет, серьёзно. И в глазах глубокий интерес. Я на шутку свожу. «Помилуйте,— говорю,— как же мы с вами можем что-либо сделать: у вас и чин большой, и должность, и всё такое».—«Нет,— отвечает,— это вы бросьте, я у вас серьёзно спрашиваю, мало ли что может выйти; мне моё будущее чрезвычайно интересно знать: я человек семейный, у меня дети, я должен быть в курсе перспектив». Прямо так и сказал: в курсе перспектив.

— Ну?— спросил Дзержинский.

— Я опять стал отшучиваться, но чем больше шучу, тем нестерпимее хочется сказать то, что я думаю. Ты понимаешь это чувство?

— Ещё бы,— усмехнулся Дзержинский.

— Ну, дальше. Шучу я, говорю, что обратитесь к другим с этим вопросом, потому что, дескать, я не доживу, а сам чувствую, что скажу, обязательно скажу, получу удовольствие, и хоть очень оно дорогое, это удовольствие, и заплатить за него, наверное, придётся порядочно, но доставлю себе маленькую радость, а там будь что будет. И доставил.

— Как же это было?— спросил Дзержинский.

— Да просто. Я ему очень вежливо, почти, знаешь ли, по-дружески, мягко и деликатно: «Мы вас, ваше благородие, обязательно, во что бы то ни стало, непременно расстреляем. Вы уж не обижайтесь на меня за правду — сами спрашивали, я ведь не нарывался на этот задушевный разговор». Но представляешь себе, он и тут не отстал от меня. «Это,— спрашивает,— ваше личное мнение или мнение и ваших товарищей тоже?»

— И в заключение была порка?

— Нет, мы ещё поговорили,— сказал Россол,— на всякие научно-тюремные темы. Долго говорили, и, только прощаясь, он сказал, что пропишет мне сто розог, дабы я не заносился и не думал о близости революции и о том, как мы расправимся кое с кем. И добавил, что есть одна хорошая русская пословица, которую надобно всегда помнить: не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Я ему ответил, что у меня есть другая пословица, не хуже: плюй в колодец — не пригодится напиться.

Дзержинский засмеялся.

— Выпороли?

— А как же...

— Сто?

— Не знаю, не помню. Вначале я считал, а потом потерял сознание.

Помолчали.

Потом Россол вдруг сказал:

— Может быть, всё дело в порке. Может быть, я ослабел от этого, а не от болезни. Может быть, они мне что-либо повредили, а вовсе это не чахотка. Как ты считаешь?

Он надеялся, верил, что, может быть, если его выпустят, если будет много свежего, чистого воздуха, молоко, зелень, хороший уход, солнце, то он поправится и проживёт долго, до ста лет. Со всей силой и страстью, на которую он был способен, Дзержинский поддерживал в Россоле эту мечту о выздоровлении, поддерживал так горячо и серьёзно, что порою сам верил в то, что они ещё долго проживут на свете, долго будут работать — до революции и после, когда революция победит и когда всё будет иначе, лучше, свободнее и справедливее.

Подробно и много он говорил Россолу о науке, о том, что медицина семимильными шагами идёт вперед, о том, что за открытием Пастера могут последовать другие, не менее крупные открытия; в любой, говорил он, день может появиться учёный, который навсегда избавит мир от чахотки, и чахотка станет таким же далёким призраком, как сейчас, например, оспа. Тогда он, Россол, встанет и выздоровеет, вновь будет работать, садиться в тюрьмы, убегать, скандалить с тюремным начальством — одним словом, жить той жизнью, которую он себе избрал, а Россол слушал его хоть и недоверчиво, но внимательно и точно позволял убеждать себя в том, во что он не верил и во что так хотел поверить.

И такие разговоры кончались обычно тем, что настроение у Россола делалось лучше, спокойнее, увереннее, на бледных губах появлялась улыбка, а в глазах то выражение, которое так любил Дзержинский: дерзкое, упрямое, мальчишеское.

Всю свою силу, всю энергию, все мысли Дзержинский отдавал Россолу.

И он не спал ночи, слыша в темноте камеры, что Антон не спит, и притворялся, что у него тоже бессонница, старался развлечь больного разговорами, рассказывал ему смешные истории и смеялся сам, хотя смеяться ему вовсе не хотелось, так же как и рассказывать; ему хотелось спать, он уставал от тяжёлых тюремных дней, от больного, порой несправедливо раздражительного Антона, от тех усилий, которые приходилось затрачивать, чтобы достать в тюрьме, с её дикими порядками, кусок льда для кровохаркающего, солёной воды, кипятку, лекарство, чистую тряпку.

Но что же было делать?..

Оставить тяжело больного, умирающего человека наедине с его тоской, с его страхами, с его страданиями?

И Дзержинский садился на лежак Антона, у его ног, в тёмной вонючей камере и говорил бодро и весело:

— Вот хорошо, что ты не спишь! Я тоже никак не могу уснуть, вот уже сколько времени лежу, лежу, а ни в одном глазу... Не спится...

— Отчего же тебе не спится?— подозрительно спрашивал Антон.

— Не знаю, отчего мне не спится,— отвечал Дзержинский,— сам знаешь, каков тюремный сон!

— Я, когда был здоров, и в тюрьме отлично спал.

В голосе Россола было раздражение, по его тону Дзержинский чувствовал, что он ищет, к чему бы придраться, на чём сорвать своё настроение.

— Где угодно отлично спал,— продолжал Россол, раздражаясь с каждым словом всё более и более,— а вот когда я болен, действительно не могу уснуть... Но никого не прошу,— голос его начинал звенеть,— никого не прошу не спать из-за меня. Наоборот, я прошу спать и не портить себе ночь, а затем настроение на весь следующий день. Я прошу только оставить меня в покое... Да! Оставить в покое, и всё!

Голос у Россола звенел и срывался на неожиданно высокой ноте, в его словах слышались слёзы, обида на то, что он не заснул ни минуты, а Дзержинский спал и не слышал, как он хотел взять себе воды и как уронил кружку, а поднять её не смог и так и не напился до сих пор...

— Почему же ты не окликнул меня?

— Потому что я знаю, что я тебе надоел, что я извёл тебя, измучил, но я не могу, я не в состоянии, у меня нет больше сил...

— Брось, о чём ты, Антон...

— Нет, не брось! Я действительно невыносим со своими капризами и придирками, но если бы ты знал, как мне тяжело, как мне хочется жить, как я устал от этих мыслей о смерти, о том, что я скоро, совсем скоро умру, что от меня ничего не останется, что я ничего не успел, совсем ничего, совсем...

И, ослабевший, измученный, Россол долго и тяжело плакал, уткнувшись в жёсткую соломенную подушку, зады-

хался от слёз, горячей мокрой ладонью ловил в темноте руку Дзержинского, сжимал её и шептал:

— Ну, научи! Как мне жить? Как? На что мне надеяться? Помоги мне! И не презирай меня, не думай, что я трус, что я ничтожество... Я болен, это болезнь, я не виноват, я нисколько не виноват. Ответь: ты понимаешь, что я не виноват?

— Да, понимаю,— искренне и убеждённо отвечал Дзержинский,— конечно, понимаю. Это пройдёт, всё пройдёт, когда ты поправишься...

И опять, как вчера, как позавчера, он говорил о том, что будет, когда Антон поправится, как они вместе выйдут из тюрьмы и пойдут купаться на речку, а потом в лес, а потом ужинать в лесную харчевню — он знает одну такую на перекрёстке дорог, старая-старая харчевня...

Он говорил и видел, как блестят в темноте глаза Россола, как светится в них жажда жизни, страстное желание пойти в лес, на речку, в харчевню, в город — туда, где много людей, где играет музыка, где нет решёток, за которыми даже наступающий весенний день выглядит уныло и печально, туда, где нет кандалов, надзирателей и длинных утомительных тюремных ночей...

— Мы бы пошли с тобой в кафе,— подсказывал Россол,— ты забыл кафе. Мы бы выбрали шикарное кафе, чёрт подери, такое, где играет целый оркестр! Мы бы сели, как всё равно два пана, и заказали бы себе бог знает что. Я даже не могу придумать, что бы такое мы себе заказали.

Он слушает Антона и сам говорит разный вздор, только чтобы вызвать улыбку на этих запёкшихся губах, хоть слабую, но улыбку; говорит, а думает совсем о другом: он думает о том, что больной, слабый, умирающий Россол сильнее сотен и тысяч самых здоровых людей; какой гигантской, нечеловеческой силой воли надо обладать, чтобы устоять, так любя свободу и жизнь, как любит Антон, и зная, что стоит ему только кое-что рассказать своему следователю, самый пустяк, дать нитку, за которую жандарм может уцепиться, и его отпустят, отпустят сразу же, в тот же день, в ту же минуту на свободу, в лес, на речку, в лесную харчевню, куда угодно...

Его держат здесь и не судят потому, что надеются: вдруг

ему станет страшно и он начнёт выдавать всё, что знает. Ради свободы, ради воли.

Судить его неудобно: нести в суд, как носят на допросы, на носилках.

Гнать в Сибирь после суда тоже неловко. А главное, суд может и не засудить!

Вот и держат — надеются, что заговорит.

А он не говорит.

Не говорит ни слова, улыбается упрямой и злой улыбкой и на все припугивания отвечает одно и то же: «Мне наплевать! Наплевать!»

И глаза у него при этом вспыхивают, как у волчонка.

Как-то душным вечером, когда громыхал первый весенний гром, Россол грустно сказал:

— Завтра вы пойдёте на прогулку по лужам. Я бы тоже с удовольствием походил по лужам.

Он сказал это не то серьёзно, не то в шутку и замолчал на весь вечер. Слушал шум дождя, смотрел на ржавую решётку окна, кашлял. А когда Дзержинский вернулся днём с прогулки, спросил:

— Ходили по лужам?

— Ходили,— чувствуя себя виноватым, сказал Дзержинский.

— Большие лужи?

— Нет, не очень, так себе...

— Глубокие?— продолжал допрашивать Россол.

— Лужи как лужи,— сказал Дзержинский и, чтобы перевести разговор на другую тему, рассказал, как обиделся новый надзиратель, когда заключённые подумали, что он собирается прекратить прогулку раньше времени.

Но Россол не слушал.

— Я должен выйти на волю,— сказал он чужим голосом,— понимаешь, Яцек? Что угодно, но я должен. Я больше не могу. Я должен выйти!

Дзержинский молча смотрел на Россола.

— Пусть меня выпустят из тюрьмы,— сказал Россол,— пусть! Слышишь!

В его голосе звучало такое отчаяние, что у Дзержинского перехватило горло.

— Я хочу на волю,— приподнявшись на локте и глядя в лицо Дзержинскому почти сумасшедшими глазами, быстро и громко говорил Россол,— во что бы то ни стало я хочу на волю. У каждого человека есть предел терпению. Как хочешь, Яцек, но я больше не в состоянии. Выпусти меня из тюрьмы. К чёрту...

Его пришлось отпаивать водой. Он был как потерянный. И, плохо соображая от жалости и сострадания, Дзержинский сказал вдруг, помимо своей воли, что постарается завтра устроить так, чтобы Антон попал на прогулку.

— Я? На прогулку?— не веря своим ушам, произнёс Россол.

— Ты, ты,— сказал Дзержинский.

Он отлично понимал, что Антон не может попасть на прогулку, но что было делать: он сказал нечаянно, а Россол принял всерьёз и уцепился за слово «прогулка»; ему хотелось верить, что он попадёт на прогулку, что он увидит небо, солнце, каштаны, траву, лужи...

— Но лужи высохнут до завтра,— сказал Дзержинский.

Россол не слушал. Он говорил и не спрашивал ни о чём: спрашивать было страшно. Если спросить, то обязательно выяснится, что прогулки не может быть, что это сон, это просто-напросто приснилось, и сейчас Дзержинский скажет: «Что ты, какая такая прогулка!»— и всё кончится.

И он не спрашивал.

Он только говорил о самой прогулке, о том, как он завтра будет гулять.

То есть гулять он, конечно, не может, но ведь дело не в словах; он будет сидеть на воздухе, на солнце, во дворе и даже на радостях закурит папироску-самокрутку из махорки — пропадай всё пропадом, как говорится. Пусть они ходят как дураки по кругу, а он будет сидеть и смотреть на небо. Или вот что: папиросу он курить не станет. Это глупо — курить папиросу на воздухе. Ни к чему! Он лучше сорвёт травинку и будет её жевать. Боже мой, как давно он не жевал травинку, а ведь есть такие счастливцы, которые могут делать это хоть каждый день...

Он будет сидеть на земле, прямо на земле, а они пускай ходят кругом,— ему что.

И если он побудет на воздухе, у него появится аппетит.

А как только он начнёт есть, болезнь исчезнет сама собой. Всё дело в аппетите, только в нём, не правда ли?

Чахотку надо заливать жирами, молоком, сметаной. Она боится пищи как огня. И вот после прогулки...

К тому времени, когда заключённых обычно выводили на прогулку, Россол отвернулся к стене и прикрыл голову одеялом. То возбуждённое состояние, в котором он был накануне вечером, сменилось апатией, полным упадком сил, равнодушием. Теперь он, видимо, понял, что ни о какой прогулке не может быть и речи, что каштанов ему не увидать, что всё это мечты.

Несколько раз за утро Дзержинский окликал его, но он не отзывался, делал вид, что уснул, хоть, конечно, не спал и не думал спать.

Незадолго до прогулки Дзержинский подошёл к Россолу, подёргал его за одеяло и, когда Антон открыл злые глаза, сказал:

— Одевайся, иначе не успеем.

— Зачем мне одеваться?

— Пойдём на прогулку...

Секунду, не более, Россол смотрел в глаза Дзержинскому — старался понять, шутит он или говорит серьёзно. Да и можно ли шутить такими вещами?

— Но я не удержусь на ногах,— сказал он,— я упаду.— И виноватым голосом добавил:— Я теперь очень ослаб, Яцек. У меня плохие ноги.

— Тебе не надо держаться на ногах,— сказал Дзержинский,— зачем тебе держаться на ногах, если я тебя понесу? Я буду твоими ногами, понял?

— Понял,— всё ещё виноватым, покорным тоном ответил Россол,— но ведь тебе будет тяжело.

— Одевайся и не болтай,— приказал Дзержинский.— Там увидим, тяжело или не тяжело.

Россол сел на лежаке и нагнулся за сапогами, но тотчас же свалился на свою соломенную подушку: от слабости закружилась голова. Дзержинский поднял с полу сапоги, сел рядом с Россолом и обнял его за плечи, чтобы он спокойнее и твёрже себя чувствовал.

— Это ничего,— бормотал Россол, силясь натянуть сапог,— это ничего, это сейчас пройдёт, всё пройдёт, это от-

того, что я слишком резко вскочил. Но сейчас мне уже лучше, мне легче...

От волнения и слабости лоб его покрылся испариной, он никак не мог ухватить рукой ушко сапога, не мог сунуть ногу в голенище, ему уже ни на что не хватало сил.

— Да ты не волнуйся,— как можно мягче и веселее говорил Дзержинский,— ты вовсе не так уж слаб, а просто ты волнуешься, вот у тебя и не ладятся сборы. Ну, успокойся! И не торопись! Возьми обеими руками за ушки и тяни. Взял? Ну видишь, как просто! Теперь второй сапог! И второй натянул — видишь, как хорошо! Теперь куртку. Где твоя куртка?

Одевая Россола, он делал вид, что Антон одевается сам, своими руками, он же, Дзержинский, тут ни при чём, он только успокаивает Россола, подаёт ему одежду и разговаривает с ним.

— Видишь, как хорошо,— говорил он,— вот ты и готов, совсем готов. Теперь встань, только не торопясь, обопрись на меня и встань. Вот так, хорошо, замечательно...

— Ноги не держат,— слабо произнёс Россол,— совсем не могу стоять, Яцек...

С лязгом отворилась дверь, и в камеру вошёл старший, Захаркин.

— На прогулку собирайтесь! Живо!

Увидав Россола, он спросил:

— А этот куда же? Ужели гулять?

— Гулять,— ответил Дзержинский.

— На допросы не может, а на прогулки может,— сказал Захаркин и вышел из камеры, не заперев за собой дверь.

Стоять Россол решительно не мог: у него кружилась голова, подкашивались ноги. Из плана Дзержинского — вести его на прогулку, обняв за талию и сильно поддерживая,— ничего не выходило. Надо было найти другой выход, и без промедления: в коридоре Захаркин уже выстраивал арестантов, промедление грозило опозданием на прогулку.

А губы у Россола уже вздрагивали: во второй раз за эти сутки он расставался с мечтой о прогулке.

— Спокойно, Антон,— сказал Дзержинский,— сейчас всё образуется. Сядь на койку.

— Зачем?

— Сядь, говорю!

Голос его звучал строго, почти повелительно. Такому голосу невозможно было не повиноваться.

— Теперь возьми меня за плечи! Нет, не за шею, а именно за плечи! А ноги давай сюда. Хорошо держишься?

— Хорошо...

— Держись, я поднимаюсь.

— Держусь.

Дзержинский выпрямился. Теперь он держал Россола на спине.

— Надорвёшься, Яцек,— сказал Россол,— это чистое сумасшествие — то, что ты затеял!

— Сиди смирно,— посоветовал Дзержинский.

С бледным как мел, но совершенно счастливым Россолом за плечами Дзержинский вышел в коридор. Заключённые, уже выстроенные на прогулку в две серые шеренги, не сразу заметили в полутьме коридора ношу Дзержинского, а когда заметили, то как бы дрогнули — обе шеренги заколебались, задвигались и вновь замерли: из-за поворота бежал Захаркин и командовал:

— Смирно, равнение направо!

За старшим надзирателем двигались начальник тюрьмы и его помощник. Это было неприятно: начальник и помощник почти никогда не появлялись в это время.

Дзержинский стоял на левом фланге, начальство же появилось на правом и застряло: шёл осмотр арестантов.

— Вы не робейте, товарищ,— сказал Дзержинскому его сосед, широкоплечий врач с висячими усами,— они вам ничего не скажут. Не посмеют!

— Положим, посмеют,— улыбнулся Дзержинский,— но я не робею. Авось как-нибудь.

Держать Россола на спине было очень тяжело: ширококостный и высокий Антон, несмотря на худобу, весил ещё много. Дзержинский, сам ослабевший после стольких месяцев тюремной жизни, сейчас со своей ношей едва держался на ногах. Лицо его покрылось потом, сердце билось неровно, толчками. А начальство двигалось так медленно, что, казалось, никогда не будет конца этому стоянию в сыром полутёмном коридоре с Антоном за плечами. И если бы он ещё не волновался так ужасно!

Каждого арестанта начальник тюрьмы осматривал и обыскивал самолично: на прогулках довольно часто аре-

станты передавали друг другу письма, записки, даже книги, и начальник тюрьмы объявил этому обычаю войну. Пока что он ничего не нашёл, и это его злило. Если весь обыск окажется безрезультатным, начальник останется в глупом положении.

Чем меньше оставалось необысканных арестованных, тем больше раздражался начальник тюрьмы. Теперь уже Дзержинский видел его бледное выбритое лицо с большим носом и угловатыми бровями, его большой подбородок и кончики крахмального воротничка, выглядывающего из-под воротника мундира.

— А пачему у вас, пазвольте спра-асить,— нажимая на букву «а», говорил начальник,— пачему у вас пуговицы аторваны? Вы что? Правил не знаете? Так мы вас жива! Захаркин! Трое суток карцера ему!

Теперь у каждого арестованного он находил какой-нибудь непорядок в одежде или в поведении: один не так стоял, другой посмел улыбнуться, третий держит руки в карманах, четвёртый посмел попросить очки, отобранные на допросе.

— То есть как эта отобранные?

— Следователь мой отобрал у меня очки, чтобы ускорить моё сознание,— говорил четвёртый от Дзержинского арестант с тонким и умным лицом,— я же без очков ничего решительно не вижу. Прошу вас возвратить мне очки...

Но начальник тюрьмы уже не слушал. Теперь он увидел Дзержинского и вместе со своим помощником, прыщавым молодым человеком, шёл к Дзержинскому.

— Эта что ж такое?— спрашивал он, щуря глаза.— Эта шутка или как эта панимать? Сейчас же абоим встать смирна,— вдруг крикнул он,— сейчас же!

— Мой товарищ болен, как вам известно,— сказал Дзержинский,— и стоять не может.

— Я приказываю прекратить,— крикнул начальник,— я приказываю стоять смирна!

— Но он не может...— начал было Дзержинский.

— Молчать!— багровея и теряя всякую власть над собой, заорал начальник.— Назад в камеру! Запрещаю! Захаркин, за самовольное выношение... вынесение... за самовольный вынос из камеры...

Он вдруг запутался и забыл то, что хотел сказать. В эту секунду в коридоре вдруг раздался звонкий голос Россола:

— Палач! Мы всё равно тебя расстреляем! Палач!

Неизвестно, что произошло бы, не раскашляйся Россол в это время. Он закашлялся так, что отпустил Дзержинского и повалился головой вниз на щербатый каменный пол коридора, внезапно побелев донельзя и потеряв сознание. Но сосед Дзержинского, врач, успел подхватить голову Россола, так что он не ударился, и принял его от Дзержинского.

Захаркин схватил врача за руку и оттащил от Россола. Врач рванул руку. Россол всё ещё кашлял. Изо рта его текла узкая струйка алой крови.

— Все назад, в строй!— протяжно закричал начальник тюрьмы и расстегнул кобуру револьвера.— По местам!

Врач в это время уже стоял на коленях возле Россола.

Захаркин опять рванул его за плечо.

— Отойдите,— сказал Дзержинский,— вон отсюда!

— Ты что?— оторопело спросил Захаркин. В его руке уже был револьвер.

— Все назад, в строй,— продолжал кричать начальник,— или я буду стрелять!

Но никакого строя уже не было. Строй внезапно сломался. Начальник был в одном кольце арестантов, его прыщавый помощник в другом, Захаркин в третьем. Кто-то тонким бешеным голосом кричал:

— Товарищи, бей палачей!

Лицо Захаркина сделалось серым.

— Спрячь револьвер, мерзавец,— сказал ему Дзержинский,—спрячь, пока тебя не убили.

А слева нёсся и нёсся бешеный, точно пьяный, тонкий голос:

— Бей палачей, товарищи! Бей, бей палачей...

Но никто не был убит. И начальник, и его помощник, и Захаркин удрали. Им дали уйти, и они ушли. Арестанты, по настоянию Дзержинского, разошлись по камерам. Россола отнесли на его лежак, врач сел с ним рядом. Тюрьма затихла.

До вечера ждали расправы, но она так и не последовала. Захаркин появился ниже воды, тише травы, настолько вдруг вежливый, что в волчок осведомился о здоровье Россола.

— Теперь лучше,— тоже вежливо ответил Дзержинский,— благодарю вас.

Но Захаркин не отходил от волчка. В волчок был виден только его мохнатый рот, и этот рот произнёс:

— Бывают же такие болезни...

На это Дзержинский не нашёлся что ответить.

К ночи Россол окончательно пришёл в себя. Худое лицо его совсем осунулось и приняло голубоватый оттенок, тёмные глаза завалились, губы запеклись.

— Здорово мы с тобой погуляли, Яцек?— спросил он, старательно улыбаясь.

— Завтра погуляем,— невозмутимо ответил Дзержинский.

— Ты думаешь?

— Уверен.

Он стоял перед лежащим Россолом, стройный, высокий, и такая спокойная сила исходила от него, что Россол поверил: да, завтра они обязательно будут гулять, ничто не может помешать этому решению, они во что бы то ни стало будут гулять.

Эту ночь — впервые за много месяцев — Россол спал спокойно, а наутро Дзержинский как ни в чём не бывало помог ему одеться, и, когда Захаркин отворил дверь в коридор и объявил прогулку, он поднял Россола на плечи и стал с ним в шеренгу арестантов.

Начальника тюрьмы не было, со вчерашнего дня его никто не видел.

Захаркин же сделал такой вид, что ему нет никакого дела ни до Дзержинского, ни до его ноши, ни до чего решительно, кроме самой прогулки.

Да и вообще в лица арестантам он не смотрел, а смотрел вниз и покрикивал:

— Ногу, ногу держать как надо! Подобрать кандалы! Без разговоров, правое плечо вперёд, по лестнице не торопись!

Грохоча сапогами, под звон кандалов арестанты двигались коридорами, лестницами, опять коридорами в тюремный двор.

— Тяжело?— негромко спросил врач у Дзержинского.

— Ничего, привыкну,— ответил Дзержинский.

Спустились по последнему маршу лестницы, миновали последний коридор и вышли на мощённый булыжником двор. День стоял солнечный, почти жаркий. Ещё цвели каштаны — пирамидальные белые соцветия украшали ветви. Захаркин пятясь бежал впереди первой пары и кричал, размахивая руками, как дирижёр перед полковым оркестром:

— Соблюдай расстояние на одну протянутую руку! Пара от пары на три шага! Детки-соколы, соблюдайте порядочек, иначе драться буду! Без разговоров!

Но было так хорошо, что даже эти дурацкие возгласы Захаркина не мешали.

Пекло солнце.

Посреди двора прогуливались и ворковали голуби.

Тянуло ветром, настоящим весенним ветром.

С Дзержинского ручьями лил пот, но он не замечал этого.

Под звон кандалов, под грохот сотен пар сапог он слушал задыхающийся шёпот Россола, его восторженные, отрывочные слова:

— Яцек, каштаны! Ты видишь, каштаны! Трава! Смотри, между булыжниками пробивается. Смотри, слева — совсем зелёная, настоящая! Ты устал, Яцек! Тебе тяжело? Смотри, какой толстый голубь, просто толстяк! Как он может летать, такой толстый?

Россол точно помолодел на несколько лет.

И все вокруг точно помолодели и поглупели. Восторженные восклицания неслись отовсюду:

— Эх, жизнь!

— Природа, одно слово.

— Мама дорогая, солнце как зажаривает!

— Не для вас и не для нас зажаривает.

— Ай погода!

Дзержинский задыхался, глаза ему застилал туман. Он ничего не слышал, кроме грохота собственного сердца и того, что шептал ему в ухо Россол.

«Только бы не упасть,— думал он,— только бы не свалиться тут, посреди двора, вместе с Антоном».

Но он не свалился. Пятнадцать минут кончились. Захаркин засвистел и подал команду разойтись по камерам. Дзержинскому ещё предстояло поднять Антона на четвёртый этаж и пронести по коридорам...

Каждый день теперь он выносил Россола на прогулку. За лето он очень испортил себе сердце.

Но разве он когда-нибудь обращал внимание на такие пустяки!

Передают, что про него кто-то сказал такую фразу:

«Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что он сделал для Россола, то и тогда люди должны были бы поставить ему памятник».

С какой радостью я с тобой, милый мой, пускал бы в воздух мыльные пузыри, чтобы они, радужные и прекрасные, носились плавно по воздуху, а мы следили бы за ними, задрав головы и поддувая, чтобы они не упали. И я думаю о том, что, когда ты подрастёшь, будешь большим и сильным, мы научимся сами летать на аэроплане и полетим, как птицы, к высоким горам, к облакам на небе,— а под нами будут сёла и города, поля и леса, долины и реки, озёра и моря, весь мир прекрасный. И солнце будет над нами,— а мы будем лететь. Ясик мой, не огорчайся, что я теперь не с тобой, иначе не может быть, я люблю тебя, моё солнышко, и ты радость моя, хотя я тебя вижу только во сне и в мыслях. Ты вся радость моя. Будь хорошим, добрым, весёлым и здоровым, чтобы всегда быть радостью для мамуси, для меня и для людей, чтобы, когда вырастешь, трудиться, радоваться самому своей работой и радовать других, быть им примером. Я целую тебя и крепко-крепко обнимаю — сынулю моего.

(Из письма Ф. Э. Дзержинского С. С. Дзержинской и сыну [Москва, Центральная пересыльная тюрьма] 4 марта 1917 года)

МАЛЬЧИКИ

Вечером Дзержинского перевели из общей камеры в третий этаж. Тут были одиночки, но из-за переполнения всей тюрьмы в каждой одиночке сидело по двое-трое заключённых. И в этой камере койка была уже занята. Вначале он подумал, что на койке спит один человек — толстый и большой, но позже понял, что не один большой, а два маленьких.

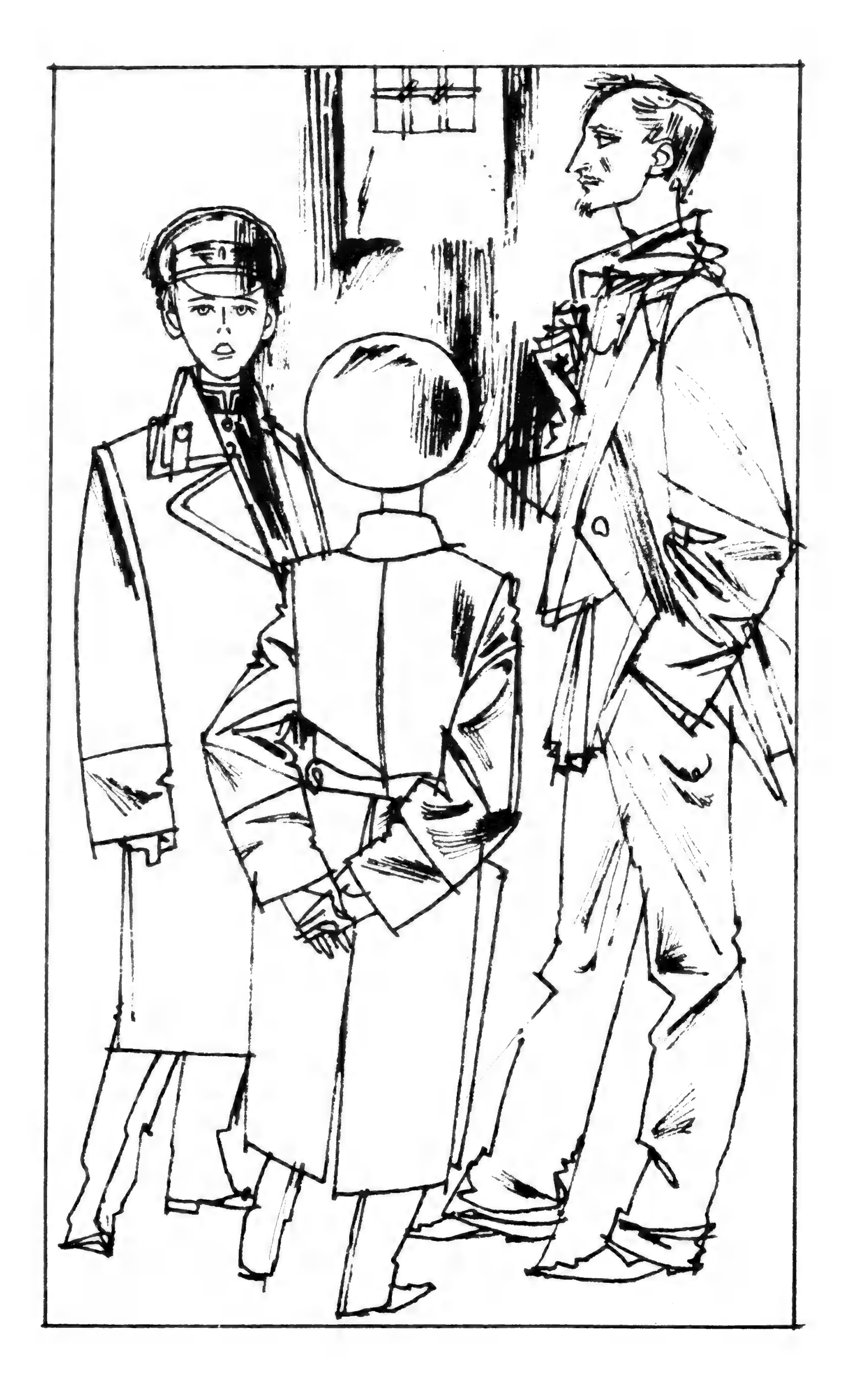
Он стал у кровати и посмотрел. Лампа едва светила. Дзержинский открутил фитиль и наклонился над спящими. Что за чёрт! Это были дети, двое детей, укрытых гимназической шинелью. Вот так номер! Им обоим не больше тридцати лет. За что их упрятали сюда? Они, наверное, от страха плачут по ночам и зовут маму!

Мальчики спали спокойно. Дзержинский сел возле столика на стул, подпёр голову руками и задумался, глядя на спящих. Вот один зачмокал губами во сне. Прошло ещё немного времени — и он улыбнулся. Чему? Что ему снится? Наверное, что-нибудь очень хорошее и уютное вроде чаепития с папой и мамой за круглым столом. Вкусный чай с молоком и булка с маслом и мама и папа, а самовар ворчит и поёт. Хороший сон. Вот какое будет пробуждение?

Дзержинский даже крякнул от сострадания и жалости, представив себе пробуждение мальчика.

«Ну что я ему скажу,— со скорбью подумал он,— ну чем мне ему помочь?»

С полчаса Дзержинский просидел совершенно неподвижно, потом встал, взял свой узелок с продуктами и принялся готовить ужин. Никогда он так не возился с ужином, как в этот раз, и всё удалось на славу: и маленькие бутерброды с колбасой и свежим огурцом, и крутые, аккуратно разрезанные и посоленные яйца. Были у него и сушки, и леденцы. Леденцы выглядели необыкновенно нарядно среди всего этого царского угощения.



Накрыв на стол, он наклонился к спящим и негромко сказал:

— Прошу вставать! Ужин сервирован в золотом зале! Кушать подано.

Стриженный под машинку мальчик слегка приоткрыл глаза и сонным, тёплым взглядом окинул Дзержинского. Несколько мгновений он ничего не понимал, потом сел на кровати и спросил:

— Вы новенький?

— В каком смысле?— не понял Дзержинский.

— Вас только что арестовали?

— Нет, не только что. А вас?

— Два месяца тому назад. Давайте познакомимся. Серёжа!

И он подал Дзержинскому тёплую после сна руку.

— Будите вашего товарища,— сказал Дзержинский,— будем ужинать.

Серёжа разбудил того мальчика, который улыбался во сне. Этот второй был худеньким, с девичьим румянцем и длинными ресницами.

— Борис Войтехович,— представился он.

На еду мальчики смотрели горящими глазами, но ели очень мало, видимо, стеснялись. Дзержинский посоветовал есть вовсю. Тогда Борис Войтехович сказал:

— Мы не можем объедать вас, товарищ, потому что нам нечем ответить на вашу любезность.— И живо добавил:— Впрочем, я съем ещё пол-яичка. Видимо, организм требует белков.

Мальчики оказались очень милыми, живыми и простыми. Борис Войтехович любил говорить такие слова, как «организм», «миссис», «идея» и «начало начал», а Серёжа был обладателем отличной коллекции марок, в которой имелась даже такая редкость, как «Мальта» юбилейная. Что это за «юбилейная», Феликс Эдмундович не знал, но Серёжа говорил о ней с таким огнём в глазах, что Дзержинский сделал вид, будто «Мальта» юбилейная поразила и его.

За разговорами о революции и о Гегеле (Боря, несмотря на свои шестнадцать лет, уже пробовал читать Гегеля) время летело незаметно. Говорили до полуночи, а к полуночи Дзержинский перевёл разговор на крокет и на плавание. Своим необыкновенным чутьём он понял, что мальчи-

ки находятся в том страшном нервном возбуждении, которое в любую секунду может прорваться слезами, и перевёл «умный» разговор на совсем иные темы. И хотя мальчики уснули довольно спокойно, тем не менее ночью он слышал, как плакал Серёжа, и сердце его разрывалось от жалости к этому маленькому собирателю марок, оказавшемуся в тюрьме.

— Вам не спится, Серёжа?— спросил он шёпотом.— Здесь, наверное, душно?

— Да, душно,— икая от слёз, сказал Серёжа.

— Вы подышите в волчок,— посоветовал Дзержинский.— Это помогает...— И негромко добавил:— Ничего, завтра займёмся вашим делом. Расскажите-ка мне: за что вас взяли?..

Они проговорили часа два. Шёпотом Серёжа рассказал их историю. Они в гимназии издают журнал. Редактор — Борис Войтехович (ведь он замечательно, замечательно умный человек, ясная голова, аналитик по природе), да, редактор — Борис, а издатель — Серёжа. То есть что значит издатель? Дело в том, что у него, у Серёжи, недурной почерк, он знает целый ряд каллиграфических фокусов, и он, так сказать, пишет журнал. Ведь журнал рукописный. И вот они написали статью. В этой статье обругали инспектора. Инспектора не как индивидуум, а как индивидуалистическое начало того, что само по себе далеко не индивидуально. Тут Серёжа запутался.

— Я что-то не понимаю,— сказал Дзержинский.

— И я,— сознался Серёжа,— но знаете, товарищ, дело в том, что эту статью писали вовсе не мы с Борисом, а один наш восьмиклассник. У него брат — социал-демократ. И мы не могли выдать его. Там ведь не только насчёт инспектора — там насчёт царя многое есть. Вы ведь согласны со мной, что мы, как честные люди, не имели права выдавать нашего товарища? И мы сказали, что это мы сами написали...

— Конечно. Но позвольте,— сказал Дзержинский,— ведь вы даже не поняли, в чём там дело?

— Да,— согласился Серёжа,— я переписывал статью не по смыслу. Я просто слово за словом переписывал. Но как честные люди, мы с Борисом дали клятву (о, вы не знаете, какой удивительный человек Борис!), мы с ним дали клятву не выдавать...

— Ну, вот что, милый Серёжа,— перебил Дзержинский,— давайте сейчас поговорим о чём-нибудь другом, повеселее, а завтра с утра мы примемся за ваше дело и авось поможем вам...

Утром Дзержинский разбудил обоих мальчиков очень рано, несмотря на то что они просили ещё хоть минуточку.

— Гимнастику!— приказал он.— За два месяца вы уже пожелтели в тюрьме. Ну-ка! Делайте то, что буду делать я! Наберите в себя побольше воздуху. Так! Серёжа, не стесняйтесь! Ну! Раз! Вытяните вперёд руки. Хорошо. На корточки! Молодцом!

Первое занятие длилось двадцать минут.

— Завтра займёмся подольше,— пригрозил Дзержинский,— а теперь попрошу вас как следует вымыться.

Он достал из своего узелка мыло и мочалку.

— Вот, пожалуйста! У вас обоих чёрные шеи. Так нельзя. Настоящий человек должен и в тюрьме оставаться человеком. Мойтесь!

После того как мальчики вымылись, он велел им раздеться догола и растереться сырой мочалкой.

— Холодно,— сказал Серёжа.

— Что?— спросил Дзержинский.

Серёжа не рискнул повторить и принялся за обтирание.

— Теперь,— произнёс Дзержинский,— теперь мы возьмёмся за уборку нашего жилья. Мы люди, а камера наша похожа на свинарник. Неужели вы могли прожить в этой камере два месяца?

Мальчики молчали.

Через два часа с небольшим камера была убрана так, что её нельзя было узнать.

— Ну вот,— удовлетворённо сказал Дзержинский,— а теперь мы будем пить чай. Хочется чаю?

За чаем Дзержинский всё время смешил мальчиков — очень комично и очень похоже передразнивал Серёжу, как тот моется, словно кошка лапой. Мальчики хохотали, и им обоим казалось, что они давным-давно знают этого удивительного человека, которого судьба только вчера послала им в камеру. И больше всего на свете они боялись сейчас, что Дзержинского уведут от них и они опять останутся вдвоём.

После обеда Дзержинский стал против дверного волчка

и принялся стучать. Он стоял спиной к стене, смотрел в волчок и стучал, а мальчики, открыв рты, следили за ним.

«Товарищи, товарищи, товарищи,— стучал Феликс Эдмундович,— тут в камере заперты два мальчика-гимназиста, оба из провинции. Передач, денег у них нет: родители не знают, где они. Мальчики сидят за политическую шалость. У кого есть связи с волей, передайте на волю. Фамилии гимназистов...»

Он стучал долго, до тех пор, пока не объяснил всё точно о своих подопечных гимназистах, потом сел за стол и начал лепить из хлебного мякиша шахматные фигурки. Весь день прошёл в шахматной игре, в весёлых разговорах, в рассказах Дзержинского. К вечеру мальчики устали и начали клевать носами. Этого, главное, и хотелось Дзержинскому. Он хотел, чтобы они наконец устали,— тогда ночь пройдёт для них спокойно. Ложась, он с весёлой угрозой в голосе посулил им:

— А завтра я вам закачу такую порцию гимнастики, что вы совсем развеселитесь. Кстати, завтра с утра будем чистить сапоги. Тут есть печная сажа, и наши сапоги просто засверкают.

Ночью его вызвали на допрос. От скрипа ржавого замка Борис проснулся и поднял голову. Увидев, что Дзержинский одевается, он толкнул Серёжу, и оба мальчика встали. Спросонок и от волнения их била дрожь; они сидели на своей койке и, широко открыв сонные глаза, смотрели на жандарма с фонарём, на Дзержинского, на тяжёлую ржавую дверь.

— Куда вы?— наконец спросил Боря.

— Я скоро вернусь,— ответил Дзержинский,— вы не ждите меня.

— А вас не переведут?— дрогнувшим голосом спросил Серёжа.

Дзержинский не знал, переведут его или нет, но ответил, что ни в коем случае не переведут, и на прощание в дверях помахал мальчикам рукой.

Допрашивал Дзержинского душистый ротмистр. В комнате следователя пахло сигарой, на полу лежал большой ковёр, окно с решёткой было завешено портьерой. Тут ничего не должно было напоминать тюрьму. Над креслом рот-

мистра висел поясной портрет бородатого Александра III. Чтобы не хотелось спать, следователь пил чёрный кофе.

Как на прошлых допросах, Дзержинский не показал ничего. Когда его спрашивали, он молчал. Да и о чём они могли разговаривать — надушенный ротмистр, розовый, кудрявый, сытый, и профессионал-революционер Феликс Эдмундович Дзержинский?

Тикали часы, потрескивали дрова в камине; офицер ходил по комнате, сложив руки за спиной, позванивая шпорами.

— Неужели вам не надоела тюрьма?— спросил вдруг ротмистр, близко стоя к Дзержинскому и подрагивая коленкой,— неужели вам не хочется на волю?

Дзержинский молчал.

— И есть вам нужно получше,— бархатным голосом продолжал жандарм.— Поглядите на себя, какой вы бледный и измученный. Вам нужны молочные продукты, свежая зелень, может быть, пивные дрожжи.

Дзержинский медленно поднял голову и коротко взглянул в розовое лицо ротмистра. Ненависть пылала в его прекрасных глазах, и этого огня так испугался ротмистр, что даже отступил на шаг.

— Что вы?— спросил он.

— Ничего. Имею заявление.

Заявление? Первый раз этот арестант произносит слово «заявление». Что ему нужно?

Ротмистр сел за стол и сказал, что слушает. Дзержинский ещё раз поглядел на ротмистра, но уже иначе — так, как смотрят на вещи.

— Дело в том,— сказал он,— что здесь, в тюрьме, содержатся два мальчика. Их держат уже два месяца, они изголодались, измучились. Обвинять их не в чем. Мне хорошо известно, что, если мальчики не будут выпущены, в газетах всего мира могут появиться статьи о том, что у вас содержатся политические преступники — малыши...

Жандарм наклоном головы дал понять, что понял слова Дзержинского.

— Только один вопрос,— сказал он.— Кто же это собирается писать отсюда в заграничные газеты?

— На вопросы такого рода я, как вам известно, не отвечаю,— сказал Дзержинский.

— И никогда не будете отвечать?
— Никогда!
— А после трёх суток карцера?
— Никогда.
— А после недели?
— Никогда.

Теперь они стояли друг против друга — маленький, розовый, похожий на ёлочного ангелочка ротмистр и тонкий, с пылающими от ненависти глазами Дзержинский.

Ротмистр позвонил и приказал надзирателю отправить Дзержинского на неделю в карцер.

Только через неделю он вернулся к себе в камеру. Мальчики встретили его такими воплями восторга, такими объятиями и прыжками, что у него задрожали губы.

— Ну, будет вам,— говорил он,— успокойтесь, а то меня опять в карцер погонят за этакий шум... Тише!

За эту неделю он совсем осунулся и пожелтел, но глаза его горели тем же удивительным огнём.

Сели за еду, и пошли разговоры.

Оказалось, что за время отсутствия Дзержинского здесь всё время стучали, но мальчики не поняли, в чём дело, и не ответили. Ещё сегодня утром стучали.

— Значит, есть новости,— сказал Дзержинский.

Новости действительно были, и хорошие: дело мальчиков сдвинулось с мёртвой точки, нашёлся адвокат, который завтра должен был прийти в камеру, и адвокат уже дал знать родным Бориса и Серёжи.

— Да, нас вызывали на допрос,— тараторил Серёжа.— На нас так стучали кулаком, что просто ужас! Но я, даю вам честное и благородное слово, совершенно не испугался. Подумаешь!

За эту неделю с Серёжей произошла разительная перемена: у него стал ломаться голос. Он теперь говорил то басом, то вдруг пускал отчаянного петуха, краснел, конфузился и переходил на тенор.

— Чёрт знает что,— бормотал он в таких случаях,— простудился я, что ли?

В камере было грязно, и Дзержинский опять объявил аврал: втроём мыли пол, стены, чистили, скребли и убирали.

— Но гимнастикой мы занимались,— говорил Борис,— каждый день занимались. Правда, Сергей?

Они никогда не называли один другого Серёжей или Борей — называли только полным именем или по фамилии и довольно часто ссорились друг с другом. Поссорясь, они переходили на «вы», отворачивались один от другого и делались нелепо вежливыми.

Мирить их приходилось каждый день по нескольку раз. Дзержинского они слушались беспрекословно и смотрели на него влюблёнными глазами.

Теперь мальчики получали большие вкусные передачи с воли и объедались до того, что Дзержинский строго приказал есть только в положенные для еды часы. Без Дзержинского они ничего не ели, каждое яблоко делилось на три части, и, если он отказывался от своей порции, обидам не было конца.

Через Дзержинского вся тюрьма уже знала о мальчиках; многие знали о том, что они сидят из-за того, что не выдали товарища. На прогулках мальчикам весело подмигивали, а один бородатый арестант во время прогулки подарил Борису самодельный фокус из резинки.

На несколько часов мальчики даже слегка заважничали, но потом Дзержинский занимался с ними алгеброй и как следует пробрал их за невнимательность,— важность сразу исчезла.

Вечером в воскресенье Борис был на свидании с отцом и вернулся в камеру с красными от слёз глазами, но сияющий и довольный.

— Нас обоих исключили из гимназии с «волчьим билетом»,— сказал он.— И тебя, Сергей, и меня.

У Серёжи вытянулось лицо.

— Что же мы будем делать?— спросил он.

— Не знаю,— ответил Борис.— Но папа знаешь что мне сказал, знаешь?

— Что?

Борис посмотрел на Дзержинского, потом на Серёжу, потом опять на Дзержинского. Глаза у Бориса блестели, на щеках играл румянец.

— Папа сказал,— произнёс Борис,— папа сказал, что он одобряет наше поведение. И мама тоже. И твоя тётя тоже. Они гордятся тем, что мы не выдали товарища. А про

гимназию папа сказал: «Очень жаль, конечно, но я гимназии не кончал, а стал человеком...»— Борис повернулся к Дзержинскому.— Теперь папа вот что просил вам передать,— сказал он дрожащим голосом,— что мы... мы все... любим вас как родного и никогда, никогда не забудем.

А ещё через день мальчиков выпустили.

Прощались долго, и Серёжа ревел как телёнок, в голос. У двери стоял молодой солдат и хлопал глазами: вот странность — уходит из тюрьмы на волю и ревёт!

Оба мальчика были ещё в гимназической форме, но форменные пуговицы отпороли из гордости. И шинели теперь не застегнуть было.

Борис долго подыскивал, что бы сказать Дзержинскому на прощание, но ничего не придумал, тоже заплакал и обнял Феликса Эдмундовича.

— Ну, ну,— говорил Дзержинский,— до свидания, милый мой. Иди! А то раздумают и не выпустят. Идите! Я тоже буду вас помнить.

Он был бледнее обычного, но казался совсем спокойным. Когда дверь за мальчиками захлопнулась, Феликс Эдмундович подошёл к окну и долго глядел сквозь решётку на маленький клочок бледно-голубого неба.

...Мало кто завидует нашей участи, но мы, видя светлое будущее нашего дела, видя и сознавая его мощь, сознавая, что жизнь избрала нас борцами, мы, борясь за это лучшее будущее, никогда, никогда не сменили бы своего положения на мещанское прозябание. Нас меньше всего удручают всякие жизненные неприятности, так как жизнь наша состоит в работе для дела, стоящего превыше всех повседневных мелочей. Дело наше родилось недавно, но развитие его будет беспредельным, оно бессмертно.

(Из письма двадцатилетнего Феликса Дзержинского сестре Альдоне, написанного в ссылке [Нолинск, Вятской губернии] 19 сентября 1898 года)

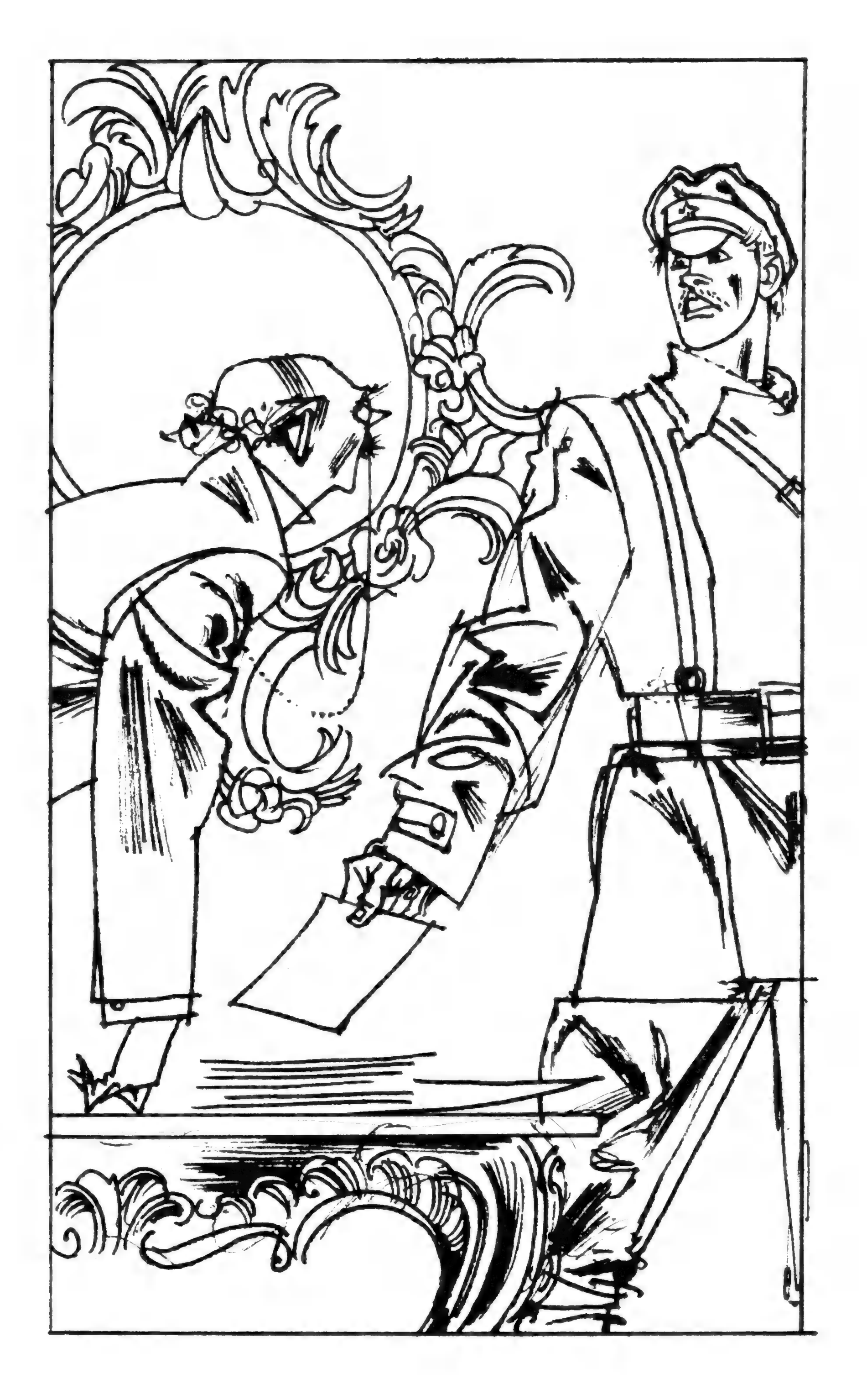
КАРТИНЫ

Петя Быков предъявил свой мандат инспектору пограничной таможни, приятному старичку в пенсне на чёрной ленте. И, несмотря на то что в мандате говорилось о том, что Пётр Авксентьевич Быков является комиссаром, что ему должны оказывать всяческое содействие и помощь организации, войсковые части, учреждения и даже отдельные граждане, несмотря на лиловую печать, исходящий номер, число — 2 января 1918 года — и подпись с широким росчерком, бумага не произвела на старичка никакого впечатления. Прочитав мандат, Провоторов посмотрел на Быкова сквозь стёкла пенсне, потом снял пенсне и, держа его возле уха, стал молча, со злым любопытством вглядываться в молодое, серое от недоедания лицо комиссара.

— Так, так!— сказал старичок.— На поправочку прибыли? На подножный корм. Подпитаться. Что ж, дело доброе, отчего и не покушать питерскому пролетарию. Только боюсь, ошиблись... Боюсь, адреса не угадали. Мы ведь тут, скажу вам откровенно, насчёт вашей Совдепии сомневаемся. Сильно сомневаемся...

Кровь кинулась Быкову в голову, но он сдержался. Приятный старичок оказался наглой «контрой» и не только не считал нужным притворяться перед молодым комиссаром или хоть молчать, нет — он заговорил и долго, с упоением рассказывал, какой был человек Сергей Юльевич Витте — не чета нынешним,— но и он, создав корпус пограничной стражи, всё-таки не мог ничего сделать с департаментом таможенных сборов и с вице-директором департамента бароном Ганом.

— Самому графу Витте не удалось!— говорил старичок, крутя на пальце своё пенсне.— А уж он, Сергей Юльевич, в два царствия к обоим императорам запросто захаживал. Мы — ох сила! Границы Российской империи нуте-кась сочтите! И везде наш брат таможенный чиновник осел, везде корни пустил, все мы друг друга вот как знаем,



захотим — контрабанду отыщем, где её и нет вовсе, а захотим — любой груз пропустим, и сам чёрт нам не брат. Так-то, месье комиссар! Засим желаю приятного препровождения времени в наших палестинах...

«Твёрдость и спокойствие!» — приказал себе Петя.

Не попрощавшись со старичком, он вышел из конторы на улицу. Мела позёмка, нигде не было видно ни души. Уже смеркалось, в приземистых, засыпанных снегом домишках зажигались жёлтые огоньки. «Куда же идти? — думал Петя. — Где выспаться, где поесть? Чёрт, хоть бы махорка была!»

Ночевал он на станции, на клеёнчатом диване в бывшей так называемой царской комнате. Было очень холодно, грызли клопы. На рассвете сторож Федотыч, растапливая печку, сокрушался:

— Да-а, времечко! Раньше, бывало, господин Провоторов ревизора ждут — и-и, батюшки мои! Из Петербурга окорока, закуски разные, от самого Елисеева жабы эти мёртвые...

— Какие такие жабы? — удивился Петя.

— Ну, ракушки...

— То устрицы...

— А нам ни к чему. Словом, жабы мёртвые, чего душа ихняя захочет. Выпивка, конечно. Квартиру коврами уберут. А ещё — с дамочками за границу съездят, там погуляют, тут отдохнут. Малина! А нонче гляжу на тебя — ну какой ты, батюшка, ревизор? Ни виду, ни брюха, ни осанки...

Петя угрюмо попросил сторожа купить хлеба и молока. Сторож вернулся с пустыми руками.

— Нету, батюшка! — сказал он, топая обмёрзшими валенками и глядя в сторону. — Ничего нету. Ни молочка, ни хлебца... — С минуту помолчал, вздохнул и добавил потише: — Сволочь — житель наш. Не дадим, говорит, для комиссара. Приехал тут командовать! Пущай выметается... — Ещё помолчал и добавил: — Старуха моя нонче щи варит с убоинкой, так ты, батюшка, не побрезгуй. Горяченького покушай. Я тогда позову. А деньги твои — на вот...

Восемь дней Быков присматривался к старику Провоторову и к двум его помощникам, жилистым и туповатым

с виду братьям Куроедовым. Братья держали на хуторе, версты за две от станции, семнадцать коров; была у них и сыроварня, и потому от братьев всегда пахло остро и неприятно — рокфором, бакштейном, лимбургским сыром. Завтракали они сметаной, макая в неё пшеничную пампушку, а Провоторов здесь же, в маленькой кухне при таможенной конторе, жарил себе творожники и ел их непременно в присутствии Быкова.

«Вот-с, месье комиссар,— говорил он, аппетитно поливая творожники сметаной,— обычный мой завтрак. И простоквашу ещё цельную, не снятую. Пирожок вот домашний...»

Петя не отвечал, занимаясь бумагами. Провоторов чавкал, братья Куроедовы шёпотом рассказывали друг другу что-то смешное. Лакейски почтительный тон чиновничьих прошений и отношений раздражал Быкова, за каллиграфическими строчками чудились ему рожи бесконечных Провоторовых; и казалось, что и таможенные шнурованные книги с сургучными печатями, и все входящие и исходящие, так же как и акты ревизий,— всё обман, бесконечная подделка, чепуха, которую и читать-то не стоит...

Вечерами при свете коптилки в своей «царской комнате» Петя пытался разобраться в таможенных уставах, а когда делалось особенно тоскливо, шёл к сторожу и играл с ним в «короля» или «дурачки» засаленными, тяжёлыми от времени картами. Старуха — жена Федотыча — стояла возле стола; глаза её часто наполнялись слезами; сморкаясь в фартук, она говорила: «Ну как есть Минька наш. Ну как есть...»

Петя уже знал, что Минька убит на германском фронте совсем недавно, что имел он Георгия и был добрым сыном. Старик угрюмо отмахивался, иногда кричал фальцетом: «Не рви душу, тебе говорят!..»

Бородатое, всё поросшее седыми волосами лицо Федотыча морщилось; он кидал карты об стол, уходил за занавеску. В низкой комнате делалось тихо, только постукивали часы-ходики — премия кондитерской фабрики «Жорж Борман». Петя сидел молча, упершись подбородком в ладонь, думал о том, что нет на земле большего горя, чем горе этих двух стариков, искал слова, которыми можно было бы утешить, и не находил...

Однажды Провоторов, вертя своё пенсне, сказал Пете:

— Хорошего вы себе друга отыскали, месье комиссар. А? Ведь ваш приятель золотарём был. Вам это обстоятельство известно?..

Петя молчал.

— В ознаменование сей бывшей его специальности и именуем мы вашего Федотыча в своём кругу Сортирычем. И настолько он к этому имени привык, что с охотой откликается...

Петя насупился. Он вдруг вспомнил, что действительно сам слышал какое-то странное имя, с которым обращались к Федотычу и Куроедовы, и Провоторов.

— Это остроумно?— спросил Петя.

— Развлекаемся в нашей глуши...

— Развлекаетесь? Ну, больше вы так развлекаться не будете!

— Вы мне угрожаете, месье комиссар?

— Я не угрожаю, а приказываю прекратить издевательство над человеком...— И, хмелея от бешенства, Петя с трясущимся лицом надвинулся на Провоторова и закричал: — Хабарник! Вор! Взяточник! Ничего, я вас всех выведу на чистую воду, вы у меня волками тут завоете. Монархисты, шкуры...

Он ногой откинул стул с дороги и вышел из конторы. А сзади вопил Провоторов:

— Вон! Мальчишка! Оскорбление! Господа, вы подтвердите...

В этот вечер пришёл поезд с салон-вагоном, идущим за границу. Вагон отцепили, и старенький паровоз «овечка», недовольно пыхтя, погнал его в тупик на таможенный досмотр.

Было очень темно; морозный ветер свистел в чёрных старых вётлах; возле станции, у водокачки, тоскливо выла собака. Быков шёл впереди, за ним шествовали Провоторов и братья Куроедовы; они все о чём-то переговаривались и пересмеивались,— наверное, по поводу нового комиссара. Салон-вагон был заперт, стекло примёрзло, медная ручка покрылась инеем. Пришлось долго стучать, прежде чем открыли дверь. Из тамбура сразу пахнуло теплом, запахом хорошей еды, дорогим табаком.

— Таможня!— сурово отрекомендовался Быков.

В салон-вагоне их встретили приветливо, предложили закусить, выпить немного старого виски «Белая лошадь», подвинули коробку с сигаретами, и Провоторов уже поклонился и поблагодарил, бочком подвигаясь к столу, как вдруг комиссар дёрнул его за рукав и показал глазами, что этого делать нельзя.

Один из иностранцев — очень высокий, с приподнятой левой бровью, отчего лицо его всё время казалось изумлённым,— засмеялся, хлопнул комиссара по плечу, потряс, похвалил. Другой — толстый, в меховых сапожках — тоже похвалил, но добавил, что доброе старое виски никогда никому не повредит. Третий — с сигарой в зубах — рассердился, что таможенники, вопреки привычным правилам, не пьют, и сказал по-русски:

— Новая метла всегда чисто метёт. Метите чисто, молодой человек!— И погрозил Быкову длинным белым пальцем с перстнем.

— Начинайте досмотр!— приказал Быков старшему Куроедову.

Тот лениво повёл глазами по большому купе-столовой, вздохнул и открыл буфет. Провоторов, извиняясь больше, чем следовало, и даже шаркнув ногой в валенке, попросил открыть «чемоданчики». Младший Куроедов пошёл к проводнику. Комиссар сел верхом на стул и поглядывал, что где делается.

— Эти мешки нельзя трогать!— сказал сердитый иностранец с перстнем на пальце.— Здесь дипломатическая почта.

Он всё время отругивался. Даже Провоторов, с его шарканьями и извинениями, не мог угодить этому иностранцу, так хорошо говорившему по-русски. И братья Куроедовы тоже никак не могли ему угодить.

Быков сначала сидел неподвижно, потом поднялся, отставил стул и принялся за досмотр сам, не обращая внимания на всякие «нельзя». Уже к концу досмотра он из тёмного коридора втащил в купе ящик и спросил, что в нём такое.

— О, это мои картины!— сказал толстый американец в меховых сапожках.

А сердитый сказал:

— Они никому не нужны, эти картины! Просто дрянь— вот что это такое. Мой друг, мистер Фишер, зачем-то по-

купает их. Откройте ящик и посмотрите! Впрочем, от вас мы имеем разрешение на вывоз этого мусора. Дайте документ, мистер Фишер.

Мистер Фишер протянул Пете большой лист, на котором было написано, что картины под такими-то и такими-то названиями художественной ценности не имеют и могут быть вывезены за пределы страны. Документ этот был подписан какими-то членами комиссии Наркомпроса.

Быков прочитал бумагу и вернул её Фишеру. Провоторов и братья Куроедовы ждали. Комиссар, на их радость, кажется, завалился со своей находкой. Интересно, как он сейчас будет извиняться: всё-таки Америка!

Но Быков не собирался извиняться. «Если картины художественной ценности не имеют,— думал он,— то, следовательно, они не имеют и материальной ценности. Зачем же такому господину, как Фишер, скупать вещи, которые не имеют ценности? На чудака или психически ненормального он не похож, буржуй как буржуй!»

И спокойным голосом комиссар приказал:

— Вскройте ящик, товарищ Куроедов.

Фишер сделал движение вперёд, и это движение не ускользнуло от Быкова. «Волнуется!»— отметил он про себя.

Младший Куроедов вынул из кармана клещи с долотом, подсадил жало под доску — гвозди с визгом поддались. Из ящика полезла стружка. Другой Куроедов придерживал ящик, младший рывком оторвал обе верхних доски и стал вынимать свёрнутые рулонами холсты.

Быков развернул холст и всмотрелся: какие-то клешни и глаза, фонари и железные трубы расползались по картине.

— Это футуризм!— с акцентом сказал мистер Фишер.— Это новое искусство. Моя жена любит такое искусство. Я сам — нет, о, я сам не любит такое искусство.

Он засмеялся и стал раскуривать прямую английскую трубку.

Вторая, третья, пятая картины были такие же. Братья Куроедовы загадочно улыбались. Старичок Провоторов смотрел через пенсне и покачивал головой. На седьмом холсте был изображён садик и рябина у забора. Это была просто базарная картина. Такие картины висят в пивных, в трактирах за Невской заставой, в парикмахерских.

— Это не есть футуризм!— сказал мистер Фишер.— Это есть мой вкус. Мой вкус — старое искусство.

— Я задерживаю этот ящик! — сказал комиссар.— Мои действия могут быть вами обжалованы. Сейчас мы составим акт.

Быков расчистил место на столе, заставленном бутылками и закусками, от которых шёл нестерпимо вкусный запах, попросил принести чернильницу и размашисто написал: «9 января 1918 года мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что...»

Мистер Фишер, побагровев, побежал отбивать депеши каким-то консулам, посланникам и послам. Другой мистер закричал, что на этот открытый грабёж, на это попрание демократии и законности, на эту наглость найдётся управа. Третий ткнул в Быкова длинным белым пальцем и, усмехнувшись, даже с грустью в голосе, предсказал:

— Опомнитесь, ваша карьера будет навсегда кончена. Мне вас жаль, молодой человек.

Провоторов и братья Куроедовы подписать акт наотрез отказались. Быков сам вынес ящик из вагона, потащил на станцию и поставил возле клеёнчатого дивана в «царской комнате». Ночь он проспал рядом с картинами, а рано утром его разбудил младший Куроедов с телеграммой. В телеграмме было сказано, что Быков Пётр с получением настоящего уведомления от работы отстраняется и что таковому Быкову надлежит немедленно возвратить картины владельцам, а самому выехать в Петроград для дачи соответствующих объяснений...

Петя прочитал телеграмму два раза.

— Ящик можно нести?— спросил Куроедов.

— Идите в контору!— твёрдо приказал комиссар.— Ящик поедет со мною в Петроград.

Младший Куроедов ухмыльнулся и хлопнул дверью.

Петя выкурил махорочную самокрутку и ещё раз прочитал телеграмму. «Диамантов»— так она была подписана, но это ничего не значило. Это мог быть тот же Провоторов, только в Петрограде. И остался от тех же времён, что и Провоторов,— от времени графа Витте и барона Гана.

— Сожрут теперь они меня!— вздыхал Федотыч, провожая Петю в Петроград.— Попомнят, как ты ко мне хаживал. Ну да шут с ними, не пропаду...

Старуха тоже вышла к поезду. Быков написал им свой петроградский адрес на всякий случай, поцеловался с ними обоими и надолго задумался под ровный стук колёс...

А вдогонку ему уже мчалась телеграмма Диамантову о том, что комиссар похитил ящик с картинами.

В Петрограде возле вокзала Быков нанял извозчика — санки з полстью — и поехал со своим «похищенным» ящиком в дом бывшего градоначальника — на Гороховую улицу. Провоторов, Диамантов и братья Куроедовы остались теперь где-то далеко. Нужно было только отыскать Васю Свешникова, который нынче работал в ЧК. Он художник, он сразу скажет, имеют эти картины художественную ценность или действительно не имеют. «Милый, добродушный, весёлый Васька, как бы тебя поскорее отыскать!»

И Петя вдруг с нежностью вспомнил, как позапрошлым летом они с Васей удили на Карповке рыбу и как Свешников рассказывал о живописи и о том, как сам он станет великим художником. А нынешней осенью Вася стал помощником у какого-то молчаливого и строгого человека...

У двери дома бывшего градоначальника стоял матрос в шинели и бескозырке, синий от холода. На поясе у моряка висели гранаты-«лимонки», на груди перекрещивались пулемётные ленты. Быков ему объяснил, что приехал к товарищу Свешникову.

— У нас чекистов поболее сорока человек,— сказал матрос.— Каждого не упомнишь. И бегают все — то туда, то обратно. Уже саней двое; говорят, днями мотор получим. Иди, браток, ищи своего дружка сам...

Пыхтя и отдуваясь, Быков поволок свой ящик наверх по лестнице. Ящик был тяжёлый, а Петя ослабел за последние месяцы. Но всё-таки он, ни разу не отдохнув, втащил «похищенный» ящик на второй этаж, крякнул и свернул в коридор, по которому навстречу Пете быстро шёл Феликс Эдмундович Дзержинский.

Петя рванул свой ящик прочь с дороги и вытянулся, как положено это делать солдату при встрече с командиром.

— Это что?— спросил Дзержинский, глядя прямо в Петины серые, очень ясные глаза.

— Картины!— громко оторвал Петя.

— Какие же это такие картины?

— Не имеющие художественной ценности!— опять оторвал Петя и по тому, как улыбнулся Дзержинский, понял, что сказал что-то глупое.

Его прошибла испарина, он поморгал и произнёс негромко:

— Разрешите, товарищ Дзержинский, всё рассказать?

— Пойдёмте!— сказал Феликс Эдмундович.

Он зашагал к своему кабинету, а Быков опять потащил свой ящик. В приёмной Петя толково и коротко рассказал Дзержинскому всю историю с досмотром вагона, идущего за границу, с телеграммой Диамантова и с жалобами иностранцев. И, роняя на пол стружки, вытащил из ящика первую попавшуюся картину.

— Что вы сами об этом думаете?— спросил Дзержинский.

— Думаю так, Феликс Эдмундович: если они художественной ценности не имеют, то для чего американцам о них хлопотать?.. Там, где художественная ценность, там и доллары, и стерлинги, а где художественной ценности нет, там и долларов нет. Вот и предполагаю: хитрит мистер Фишер.

— Пожалуй, вы правы. Хитрит.

— И Диамантов ему помогает...

— Да-а... хитрят многие...— задумчиво сказал Дзержинский.

И, тонкими сильными пальцами растянув полотно, подошёл с ним к окну и склонился над картиной. Потом внимательно разглядел холст. И, подозвав Быкова, спросил:

— Вы ничего не замечаете?

— А что, Феликс Эдмундович?

— Сопоставьте манеру, в которой написана эта галиматья, и возраст холста. Ну-ка!

Быков сопоставил и ничего не понял. Какие-то зелёные палки, стакан от снаряда, серый дым и почему-то пирожное с кремом на круглой тарелочке. Словно кто-то нарочно с тупым и злым упрямством глумился над теми, кто будет смотреть на эту картину. А холст? Ну, холст как холст. Не новый, верно. Впрочем...

В это время в приёмную вошёл Вася Свешников. Он сразу узнал Быкова, но, увидев Дзержинского, картину, ящик, стружки на полу, почти не поздоровался с Петей, только стиснул его локоть и спросил шёпотом:

— Что случилось?

Феликс Эдмундович повернулся к нему.

— Свешников, вы ведь по профессии художник?

— Был... немного...

— Вы учились в школе живописи и ваяния?

— Так точно. А потом в Академии...

— Ну и прекрасно,— неторопливо, думая о чём-то, сказал Дзержинский.— И отлично. Вот возьмитесь за это дело. Комиссар Быков вам всё расскажет. А пока немедленно надо отыскать реставратора. Отыщете?

— Постараюсь!— ответил Вася, вглядываясь в картину. И недоуменно посмотрел на Быкова. Петя пожал плечами, давая понять, что сам он нисколько в этом происшествии не разобрался. Свешников мгновение помедлил, потом поднял воротник своей вытертой куртки из собачьего меха, подмигнул Быкову и исчез. Дзержинский ушёл работать к себе в кабинет.

Опять для Пети потянулись часы ожидания. А Свешников, отыскивая реставратора Павла Петровича, всё силился припомнить, где и когда он видел эти жёлто-зелёные помойные тона, эти ломаные палки, этот крем на пирожном, так грубо намалёванный...

Найти Павла Петровича оказалось не так-то просто. В Академии он давно не бывал; там про него сказали, что, по всей вероятности, он умер. Но Свешников не сдался и зашагал на Пески, оттуда — на Четырнадцатую линию Васильевского, с Четырнадцатой — на Гончарную, потом на Вульфову...

Второй раз нынче он на этой Вульфовой улице...

И Вася посмотрел в чёрную подворотню, из которой давеча в него и в Васиного начальника Веретилина стреляли юнкера...

Но об этом думать было противно: одно дело — война, а другое — такие выстрелы в спину, украдкой, подлые выстрелы...

Павел Петрович узнал Свешникова и даже предложил ему стакан чаю из лепестков розы. Но Вася от ароматного чая отказался, и они со стариком зашагали на Гороховую.

— А тут сегодня пальба была,— сказал реставратор, кивнув на подворню.— Говорят, по вашим, по чекистам.

Вася промолчал.

В приёмной у Феликса Эдмундовича реставратор долго рассматривал картину, вздыхал, кашлял, потом вдруг глаза его стали злыми, и, обернувшись к Васе, он спросил резко:

— Не узнаёшь руку?

— Не Егоршин?

— Вроде бы его хулиганство!— ответил реставратор.— Помнишь, он всё, бывало, крем изображал? Например, крем и в нём зелёная муха погибает...

Холст натянули на подрамник.

Из кабинета своим лёгким, молодым шагом вышел Феликс Эдмундович, спросил, что думает реставратор. Тот снял шубу, потёр озябшие руки, ответил:

— Дело не новое. Случалось видеть...

В приёмную один за другим входили, стараясь не стучать сапогами, чекисты. Пришёл Веретилин, пришёл бывший наборщик Аникиев, заглянул и остался чекист Чистосердов.

Павел Петрович налил на ватку жидкость — мутную, с острым запахом. Быков затаил дыхание, в висках у него стучало, на минуту показалось даже, что в этой холодной комнате душно. Очень бережно, легко-легко ватка коснулась картины. Зелёная муть тонким ручейком полилась вниз. И через несколько минут там, где раньше торчал безобразный стакан от снаряда, вдруг открылось небо — прекрасное, голубое, весёлое — и край белого пушистого облачка. Это всё было, как чудо, как небывалое на земле чудо: подлая, серая, унылая пакость, намалёванная сверху прекрасного произведения искусства; и вот это произведение искусства открывается усталым и полуголодным людям в шинелях, в кожанках, в бушлатах; люди стоят неподвижно, застывшие от радости, от удивления, от восторга, и не отрываясь смотрят.

— Тётка тут нарисована!— заметил Веретилин.

— А весёлая!— сказал Аникиев, поправляя очки.— Замечаете, отдыхает после работы.

— Работала, а теперь отдыхает!— согласился Чистосердов.— Довольная, улыбается...

Реставратор отступил на шаг от полотна. У него было такое лицо, будто эту картину написал он.

— Я думаю, семнадцатый век. И по всей вероятности, из коллекции Воронцовых-Дашковых...

Серёжа Орлов, начавший работать в ВЧК только вчера, сказал звонко:

— Теперь из коллекции трудового народа — рабочих и крестьян!— И сконфузился под пристальным взглядом Дзержинского.

— Верно, товарищ Орлов!— сказал Дзержинский.— Теперь из коллекции трудового народа. Зайдёмте ко мне, товарищ Быков.

В кабинете Дзержинский сказал Пете, что Провоторов и братья Куроедовы от работы будут отстранены немедленно; что же касается здешнего Диамантова, то он больше командовать таможенными делами не будет.

— Можете возвращаться к себе на границу!— заключил Дзержинский.

— Значит... не надо мне к этому Диамантову являться?

— Не надо. Вы что-то хотите сказать?

— Спросить хочу. Вот что, Феликс Эдмундович, задержали мы картины, верно? А как дальше будет? В музей, и всё? Воров-то трудно поймать? Я вот сегодня глядел, сколько у вас народу — чекистов. Ведь немного...

— Нет, Быков, много. Вы речь Владимира Ильича на Третьем съезде читали? Помните слова о человеке с ружьём?

И, опустив тёмные веки, сосредоточенно вспоминая, Дзержинский словно прочитал:

— Теперь не надо бояться человека с ружьём, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Так сказал товарищ Ленин?

— Так.

— Мы стоим на страже угнетённых. Мы — люди с ружьями. Весь мир эксплуатируемых, весь мир голодных и рабов, все трудящиеся — с нами. А вы говорите, нас немного. Нас миллионы, понимаете?

— Понимаю!— сказал Быков.

— Что же касается до аппарата ВЧК, то нас действительно немного. Но разве в этом дело?

И, крепко пожав руку Быкову, Дзержинский проводил его до двери. В коридоре на столе сидел Вася Свешников и чистил маузер.

— Стреляют, черти!— сказал он Пете.— Нынче на одну квартиру ездили, а они беглым огнём из окон. И ушли чёрным ходом. Офицерьё целыми группами уходит из Петрограда к Каледину на Дон, к Дутову бегут в Оренбург, к Корнилову...

Быков посмотрел на Васю и не узнал его: это теперь был взрослый мужчина, строгий и подтянутый...

— Форменная перестрелка была?— спросил Быков.

— Да как тебе сказать...— Вася опустил маузер на колени и задумался на мгновение.— Не то что форменная, а обидно. Идёшь, ни о чём не думая,— мы тут по спекуляции и саботажу сейчас бьём,— вот идёшь эдак, посвистываешь, а они в тебя, как в бешеную собаку, палят. Норовят убить! И заметь: наши приговоры знаешь какие? Отправить на общественно полезные работы сроком на три месяца. Чиновников тут, саботажников вчера судили: по три месяца снег чистить и общественное порицание. Уж чего, казалось бы, мягче. Так нет — отстреливаются.— Он ещё помолчал, потом сказал задумчиво:— Ничего, поборемся, господа саботажники и иже с ними. Видно, мало им общественного порицания. Что ж, иначе с ними начнём говорить...— Он взглянул на Петю, усмехнулся:— А помнишь, как это совсем недавно всё было — ожидание революции? Помнишь, Петро?

Быков кивнул.

— Ты обратно на границу, Петро?

— Обратно.

— А мы в Москву. Нынче же. Теперь не скоро увидимся...

Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий, возвышенный гимн красоты, правды и счастья. И когда ты пишешь мне, что Ясика приводит в восторг зелень растений, пение птиц, цветы, живые существа,— я вижу и чувствую, что у него есть данные для того, чтобы воздвигнуть в будущем здание этого великого гимна, если условия жизни объединят в нём это чувство красоты с сознанием необходимости стремиться к тому, чтобы человеческая жизнь стала столь же красивой и величественной...

(Из письма Ф. Э. Дзержинского С. С. Дзержинской [X павильон Варшавской цитадели] 24 июня 1914 года)

В ПОДВАЛЕ

Как-то поздней ночью Дзержинский шёл домой. Была мозглая осень. Моросило, стоял туман. Возле старого полуразрушенного дома собралась толпа. Дзержинский подошёл, послушал разговоры. Из подвала дома доносился глухой сердитый голос, там кто-то бродил, чиркал спичками и ругался.

— Что случилось?— спросил Дзержинский.

— Да вот мальчишка беспризорный, что ли,— сказала женщина в тулупе,— залез в подвал, да, видно, и заболел тифом. Лежит без сознания, а вынести невозможно. Окна высокие, и дверь завалило. Муженёк мой там ходит, ищет выхода...

Дзержинский ушёл и через четверть часа вернулся с десятком красноармейцев. Красноармейцы несли ломы, кирки, лопаты, носилки. Отбили штукатурку, разобрали по кирпичу часть стены и залезли в подвал.

Дзержинский влез первым.

Мальчика нашли в дальнем углу. Он был в забытьи и стонал едва слышно, птичьим голосом. Дзержинский зажёг сразу несколько спичек и стал возле мальчика на колени.

— Его крысы изгрызли,— глухо сказал он,— вот руку и плечо тоже. Он заболел, видимо, потерял сознание, а крысы накинулись на него. Посветите мне, я его вынесу.

Он поднял мальчика на руки и, стараясь не споткнуться, бережно понёс его к пролому в стене.

Уже светало.

По-прежнему возле дома стояла толпа.

Здесь Дзержинский положил мальчика на носилки, красноармейцы подняли носилки и понесли. Дзержинский пошёл вслед. Когда красноармейцы и Дзержинский исчезли в дожде и в тумане, женщина в тулупе спросила:

— А кто этот, который мальчишку вынес? Худой какой. И лицо серое-серое.

Неизвестный матрос в бескозырке ответил женщине.



— Это Дзержинский, — сказал он, — председатель ВЧК.

А председатель ВЧК Дзержинский тем временем шёл за носилками, изредка вытирал мокрое от дождя лицо и покашливал.

Домой в эту ночь он опять не попал. Прямо из больницы, куда красноармейцы отнесли мальчика, он вернулся в ЧК, в свой кабинет, и сел за стол работать. До утра он пил кипяток и писал, а утром к нему привели на допрос бывшего лифляндского барона. Этот барон скрыл от Советской власти свой титул, назвался солдатом, и его назначили заведовать продуктовыми складами для госпиталей. Из ненависти к Советской власти лифляндский барон облил всю муку, какая только была на складе, керосином.

Раненые и больные красноармейцы остались без хлеба.

— Садитесь,— сказал Дзержинский барону.

Барон сел.

Дзержинский медленно поднял на него глаза.

— Ну,— сказал он негромко,— рассказывайте.

И барон, который до сих пор не сознавался в своём преступлении, вдруг быстро стал говорить. Он говорил и всё пытался отвести свои глаза от взгляда Дзержинского, но не мог. Дзержинский смотрел на него в упор, гневно, презрительно и холодно. И было ясно, что под этим взглядом невозможно лгать: всё равно не поможет.

Только один раз Дзержинский перебил барона — тогда, когда тот назвал его товарищем.

— Я вам не товарищ,— негромко сказал Дзержинский, и глаза его блеснули.

Всякое отчаяние так далеко от меня, и ты, думая обо мне, помни об этом. В человеке столько сил, и жизнь влила в него столько светлого и радостного и столько разумного, что оно может пересилить всё — даже ужас смерти. Всё и всех понимать и всегда видеть добро и ненавидеть зло. Понимать и страдания, и боль — как свои, так и других, и иметь в душе гордость пережить всё, что выпадет в жизни на твою долю. А самое великое счастье в жизни человека — это те чувства, которые ты можешь дать людям и люди тебе — твои близкие и далёкие, тебе подобные.

(Из письма **Ф. Э. Дзержинского** сестре Альдоне, написанного в ссылке [Мценск, Орловской губернии] 20 октября 1914 года)

КАРТОШКА С САЛОМ

Страна голодала, голодали и чекисты. В доме на Лубянке большими праздниками считались те дни, когда в столовой подавали суп с кониной или рагу из конины.

Обедал Дзержинский вместе со всеми — в столовой — и сердился, когда ему подавали отдельно в кабинет.

«Я не барин,— говорил он,— успею сходить пообедать».

Но часто не успевал и оставался голодным. В такие дни чекисты старались накормить его получше — не тем, что было в столовой.

Один чекист привез как-то восемь больших картофелин, а другой достал кусок сала. Картошку почистили, стараясь шелуху срезать потоньше. Эту шелуху сварили отдельно и съели — тот чекист, что привёз картошку, и тот, который достал сало. А очищенные картошки порезали и поджарили на сале.

От жареного сала по коридору шёл вкусный запах. Чекисты выходили из своих комнат, нюхали воздух и говорили:

— Невозможно работать. Такой запах, что кружится голова.

Постепенно все узнали, что жарят картошку для Дзержинского. Один за другим люди приходили в кухню и советовали, как жарить.

— Да разве так надо жарить,— ворчали некоторые.— Нас надо было позвать, мы бы научили.

— Жарят правильно,— говорили другие.

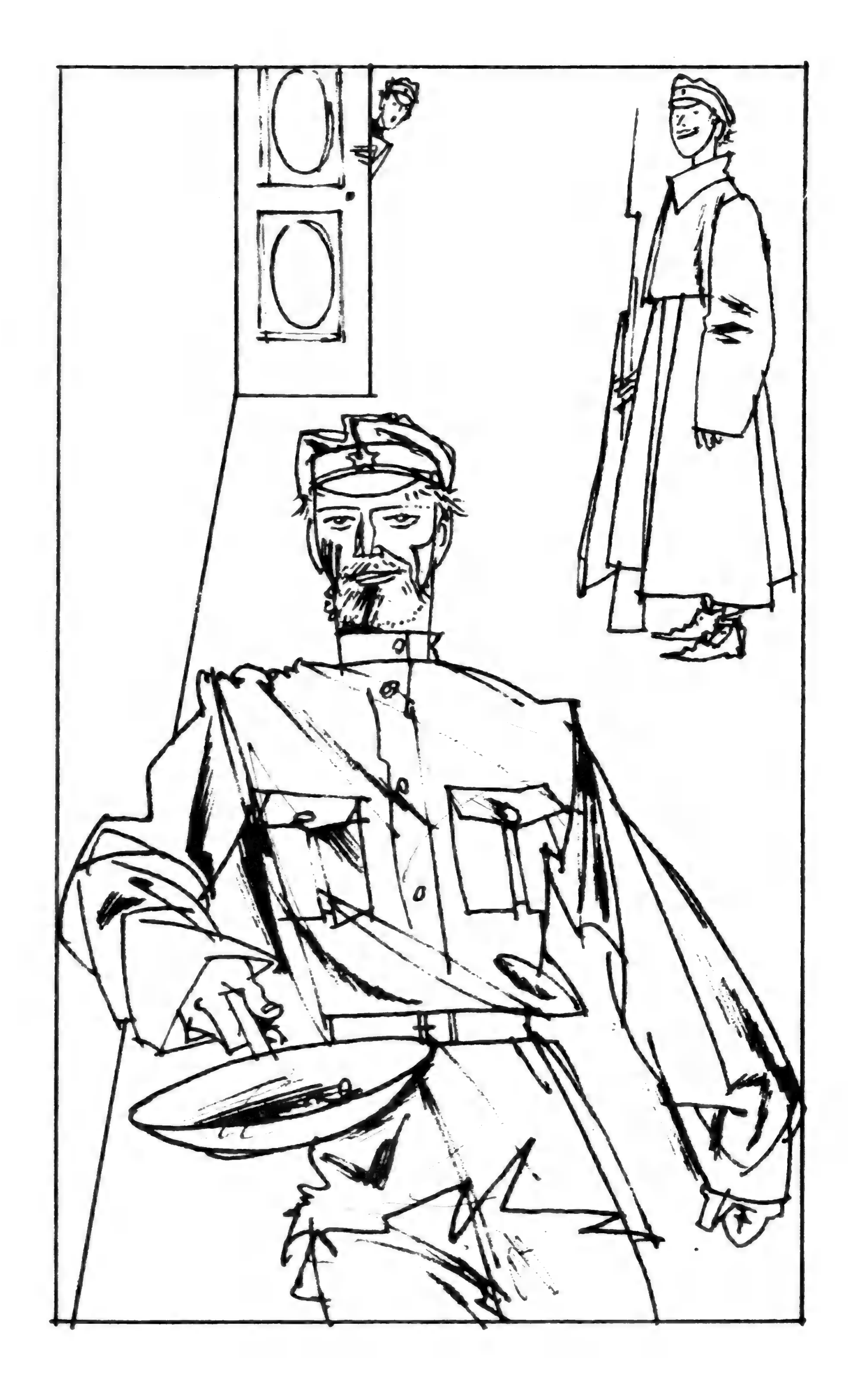
— Нет, неправильно,— возражали третьи.

А повар вдруг рассердился и сказал:

— Уходите отсюда все. Двадцать лет поваром служу — картошку не зажарю. Уходите, а то нервничаю.

Наконец картошка изжарилась. Старик курьер понёс её так бережно, будто это была не картошка, а драгоценность или динамит, который может взорваться.

— Что это?— спросил Дзержинский.



— Кушанье,— ответил курьер.

— Я вижу, что кушанье,— сердито сказал Дзержинский,— да откуда картошку взяли? И сало. Это что за сало? Лошадиное?

— Зачем лошадиное,— обиделся курьер.— Не лошадиное, а свиное.

Дзержинский удивлённо покачал головой, взял было вилку, но вдруг спросил:

— А другие что ели?

— Картошку с салом,— сказал курьер.

— Правда?

— Правда.

Дзержинский взял телефонную трубку и позвонил в столовую. К телефону подошёл повар.

— Чем сегодня кормили людей?— спросил Дзержинский.

Повар молчал.

— Вы слушаете?— спросил Дзержинский.

— Сегодня на обед была картошка с салом,— сказал повар.

Дзержинский повесил трубку и вышел в коридор. Там он спросил у первого же встреченного человека:

— Что вы ели на обед?

— Картошку с салом.

Тогда он вернулся к себе и стал есть.

Так чекисты «обманули» Дзержинского, один раз за всю его жизнь.

Феликс Эдмундович был очень скромен в личной жизни. ⟨...⟩

⟨...⟩

В стране в то время было голодно, и Феликс не позволял, чтобы ему давали лучшую еду, чем другим. Недавно мой старый товарищ по варшавскому подполью — Анна Михайловна Мессинг рассказала такой случай. Однажды в первый год Советской власти в Москве, на Сретенке, она встретилась с Юлианом Лещинским, и они вместе зашли в какое-то кафе. Хозяин этого кафе, услышав их польскую речь, разговорился с ними и угостил очень вкусными пирожными, что по тому времени было невероятной роскошью. Уходя, Лещинский захватил с собой несколько пирожных и отнёс их на Лубянку, 11, Дзержинскому, желая его попотчевать. Но кончилось это большим конфузом. Дзержинский категорически отказался есть пирожные, заявив:

— Как вы могли подумать, что сейчас, когда кругом люди голодают, я буду лакомиться пирожными!

(Из воспоминаний С. С. Дзержинской, жены и соратника Ф. Э. Дзержинского)

ЧЕРНИЛЬНИЦА

Это было во время голода на Волге.

Как-то рано утром Дзержинский приехал в ВЧК, вошёл к секретарю и, положив на стол маленький аккуратный пакетик, сказал:

— Отошлите это от меня голодающим в Поволжье.

Секретарь развернул бумагу. В пакете была небольшая чернильница с тонким серебряным ободком.

Весь день Дзержинский работал, и только ночью секретарь спросил, что это за чернильница.

Дзержинский поглядел на него своими прекрасными глазами, потом сказал:

— Как-то давно, выходя в очередной раз из тюрьмы, я долго искал, что бы купить сыну. Думалось: вот уморят тебя где-нибудь в ссылке или тюрьме, и ничего у мальчика от отца не останется. Никакой памяти. Денег было немного, искал-искал и вот купил ему чернильницу, не какую-нибудь, а с серебряным ободком. Это единственная ценность у нас в доме. Вот мы с женой и решили послать... Серебро — хлеб.

Секретарь ушёл к себе.

Поздней ночью Дзержинский вышел из кабинета.

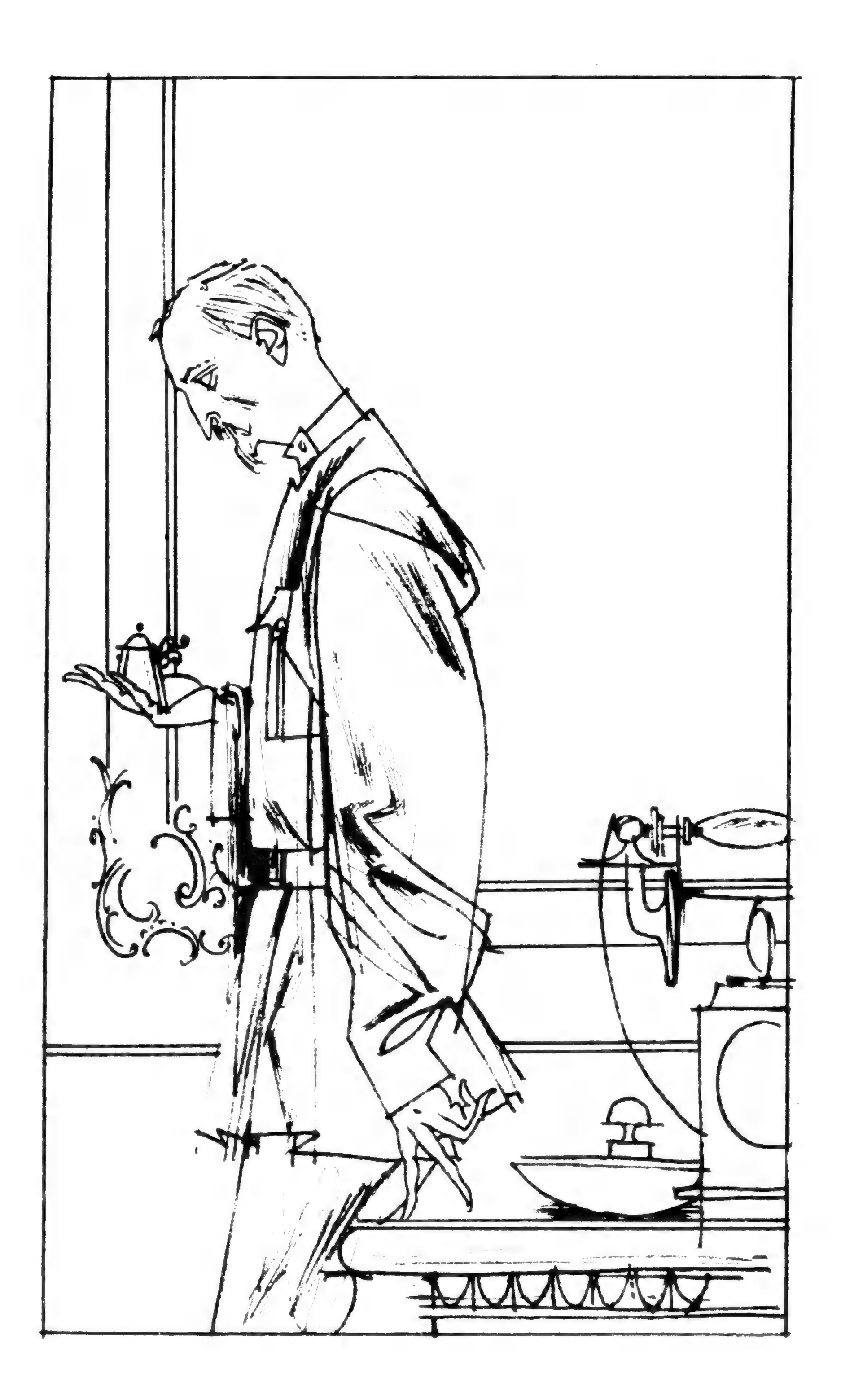
Чернильница стояла на столе у секретаря.

— Что же вы до сих пор её не отослали?— спросил Дзержинский.

— Может быть, не стоит?— неуверенно ответил секретарь.

— Нет, стоит,— сказал Дзержинский.

Повертел чернильницу тонкими пальцами, поставил её на стол и больше никогда не вспоминал о ней.



Великая и простая любовь Ф. Э. Дзержинского к детям выражена была им в таком коротком и выразительном слове: «Когда смотришь на детей, так не можешь не думать — всё для них. Плоды революции не нам, а им».

(Из статьи А. С. Макаренко «Прекрасный памятник», опубликованной в газете «Правда» 20 июля 1936 года)

Когда в сентябре 1924 года я приехал в Москву... мне рассказали о поездке Ф. Э. Дзержинского в тюрьму, где среди заключённых было много несовершеннолетних. Феликс Эдмундович велел вывести и построить их в коридоре тюрьмы. Набралось их более 20 человек.

Феликс Эдмундович объявил им, что все они переводятся в трудкоммуну, где будут жить на свободе и учиться. Каждый получит специальность и сможет стать честным тружеником.

Он говорил о времени, в которое мы живём, о том, во имя чего была совершена революция, и что нужно, чтобы стать строителем новой жизни, в чём настоящее, большое счастье человека.

— Как бы мне хотелось,— закончил Феликс Эдмундович,— чтобы каждый из вас научился уважать и себя, и народ свой, научился ценить ту великую созидательную работу, которую делает страна. Будьте достойны получить право принять участие в строительстве новой жизни.

〈...〉

Спустя некоторое время Ф. Э. Дзержинский навестил трудкоммуну. Воспитанники окружили Феликса Эдмундовича. Многие помчались в мастерские, чтобы показать свои успехи в труде... Каждому не терпелось похвалиться перед Феликсом Эдмундовичем.

(Из воспоминаний Ф. Т. Фомина, ветерана партии, чекиста)

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На маленьком полустанке вагон загнали в тупик. Мимо прогромыхал тяжёлый состав с красноармейцами. В одной теплушке дверь была открыта, там у железной печки сидели красноармейцы и пели печальную песню.

Дзержинский проводил взглядом состав и медленно пошёл по путям.

Вечерело.

Был плохой день — ветреный, с жёлто-бурыми тучами, с дождём. Беспокойный, тоскливый день. На западе стлался дым: горела панская усадьба. Возле станции росло несколько вётел и берёз, там кричали вороны.

Дзержинский дошёл до станции, поёжился, огляделся. Невдалеке, у поломанного забора, стоял мальчик лет десяти, без шапки, босой. Его посиневшие от холода ноги были облеплены грязью.

— Ты что тут делаешь?— спросил Дзержинский.

Мальчик молчал. Его худое грязное лицо выглядело почти старым. О эти маленькие старички! Как хорошо знал их Дзержинский, сколько перевидел он этих лиц в дни своей юности там, в Вильно, в Ковно, в Варшаве! Эти уже утомлённые глаза, грязные руки с обломанными ногтями, землистые щёки, тупое равнодушие ко всему на свете, кроме пищи.

— Что ты здесь делаешь?— спросил Дзержинский.

— Хлеба...— хрипло и тихо сказал мальчик.

— Откуда же тут хлеб?

Мальчик опять тупо поглядел на Дзержинского и не ответил.

— Пойдём,— сказал Дзержинский.

В вагоне никто не обратил внимания на то, что Дзержинский постоянно кого-нибудь кормил, о ком-то заботился, подолгу разговаривая с не известными никому людьми.

У себя, в отделении вагона, Дзержинский налил мальчику жестяную кружку кипятку, подцветил кипяток мали-

новым чаем, положил возле кружки кусок сахару и ломоть чёрного хлеба.

— Пей.

В окно ударил ветер и тотчас же забарабанил дождь.

Совсем стемнело. За полотном железной дороги в деревеньке зажглись огни.

— Ты откуда?

— Оттуда.

— Школа у вас есть?

— Нету,— сказал мальчик.— Ничего у нас нету.— И тоном взрослого человека добавил:— Голодуем. Ничего нет кушать. Кору с деревьев кушаем... А кору обдирать нельзя. Пан Стахович нагайкой бьёт. Нельзя.

Мальчик допил чай, собрал на ладони хлебные крошки, всыпал их в рот и ушёл. А Дзержинский стоял у окна и смотрел, как по тёмному лугу движется под дождём крошечная фигурка.

Ночью Дзержинского знобило.

Он чувствовал себя простуженным, сидел в шинели и в фуражке у топящейся железной печки, грел руки и негромко говорил своим товарищам:

— Я хорошо знаю панскую Польшу. Нигде, ни в одной стране, не унижают так национальные меньшинства. Белорус и украинец для пана помещика не люди, а холопы, как они говорят.

К вагону прицепили паровоз, коротко проревел гудок, кто-то сказал:

— Кажется, поехали.

Дзержинский подкинул в печку несколько чурбаков и опять заговорил. Вагон покачивался, скрипел, печка раскалилась докрасна. Разговор сделался общим. Говорили об украинцах, белорусах, о шляхте, о панах помещиках. Дзержинский совсем близко придвинулся к печке. Лицо его сделалось розовым, глаза блестели: у него, видимо, был жар.

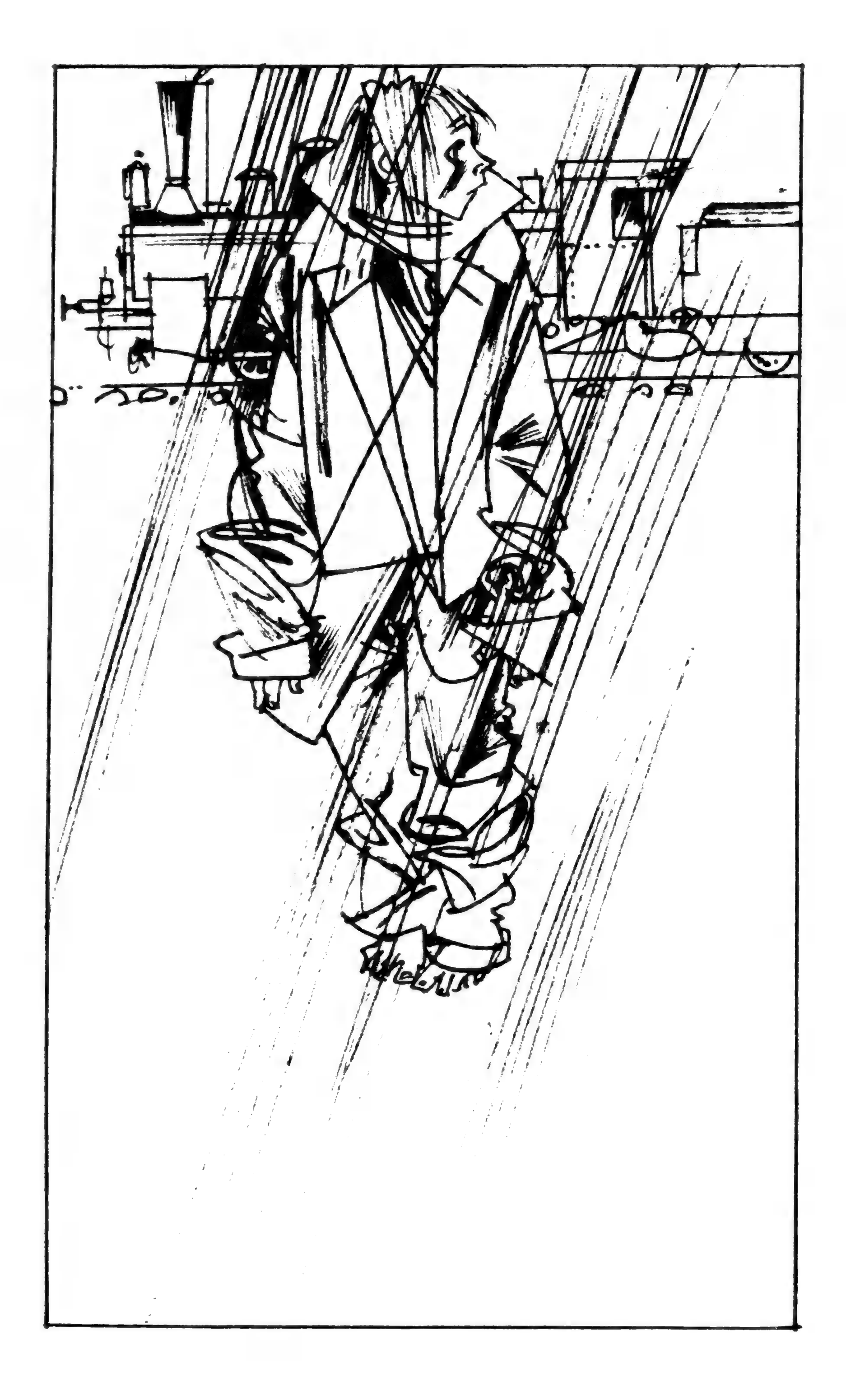
Потом он задремал.

Дремал Дзержинский недолго — несколько минут, но товарищи заметили и стали разговаривать шёпотом.

Вдруг раздался голос Дзержинского:

— Когда кончится гражданская война, я возьму народное образование...

Стало тихо.



Все обернулись к Дзержинскому.

По-прежнему раскачивался и гремел вагон.

— Да, да,— сказал Дзержинский,— народное образование...

Глаза его посветлели, лицо сделалось весёлым и юным, он усмехнулся и, протягивая руки к печке, сказал:

— Это должно быть необыкновенно, необыкновенно интересно.

И, блестя умными лучистыми глазами, первый чекист вдруг встал и начал набрасывать план организации всеобщего обучения. Это был точный, не раз продуманный план, остроумный и блестящий, как всё, что исходило от Дзержинского. Было ясно, что он давно и упорно думал об этом и что работать в народном образовании ему очень хочется.

Люди сидели и слушали как заворожённые. Выл паровоз, в окна вагона стучал дождь, покачивалась керосиновая лампа, и по ободранным грязным стенкам вагона прыгали уродливые тени. Там, в тёмной и мокрой ночи, советские войска бились с польскими панами. Дзержинский ехал на фронт. И вот ночью, полубольной, он рассказывал о будущем.

Он говорил о том, какие будут построены школы, и перед слушателями вырастали светлые и чистые здания со сверкающими стёклами, в которые бьёт солнце...

Он говорил о новом типе народного учителя, об университетах — городах науки, о замечательных научных лабораториях, о новом поколении школьников и студентов, о профессорах, о том, что рабочие и крестьяне будут учиться. И все молчали и представляли себе это будущее, ради которого идёт нынче война.

Паровоз внезапно остановился.

Дзержинский замолчал.

— Что случилось?

Вошёл машинист и сказал, что дальше нет пути: снаряд разворотил рельсы.

— Ну что же,— сказал Дзержинский,— надо добираться пешком. Тут недалеко, к утру дойдём.

Он разложил на столе карту и подумал: «Километров двадцать».

Потом спросил:

— Оружие у всех есть? Тут могут быть всякие неожиданности: паны везде рыскают.

Проверил наган и первым выпрыгнул из вагона в темноту.

Пошли по мокрому полотну. Шли молча, быстро и тихо.

А возле моста вынули револьверы.

Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего.

(Из письма Ф. Э. Дзержинского сестре Альдоне [Седлецкая тюрьма] 21 октября 1901 года)

ДВА ПОРТРЕТА

Товарищи отговаривали художника от этой затеи. Они говорили ему, что Дзержинский даже не примет художника, что смешно думать о портрете, что художнику надобно выбросить эту затею из головы...

Но он не выбросил затею. Он собрал у себя все фотографии Дзержинского и подолгу всматривался в лицо, так поразившее его несколько дней назад. Совсем случайно он видел Дзержинского издали на улице и там же в сутолоке решил: «Я его буду рисовать, я должен его рисовать, я не могу не рисовать его».

Но что могли дать фотографии — мёртвые и случайные? Разве уловлено ими то удивительно лёгкое, юношеское лицо, которое он видел давеча на улице? И глаза под козырьком военной фуражки — острый блеск зрачков и длинные, необыкновенно красивые ресницы.

В тот день художник ехал на извозчике, Дзержинский — в автомобиле, большом и старомодном. Автомобиль был открытый, Дзержинский ехал один — сидел рядом с шофёром и читал сложенную «Правду». Улицу переходили войска, и ждать пришлось долго. Извозчичий жеребец выплясывал рядом с машиной и горячился, бил подковами по булыжной мостовой. Художник видел, как Дзержинский поднял от газеты голову, как он пальцами поправил фуражку и как стал смотреть на жеребца — сначала с удивлением, потом любуясь,— как он протянул руку и потрепал коня по морде, по бархатистым ноздрям, как конь чуть не укусил Дзержинского и как Дзержинский вдруг засмеялся.

Вот в эту самую секунду, когда он засмеялся, художник решил его рисовать: весёлое, совсем ещё юное лицо, прекрасные, чистые глаза и сильная рука с тонкими пальцами... Он видел, с какой железной силой эта рука взялась за недоуздок и потянула разгорячённую морду жеребца...

Но войска прошли, автомобиль, обдав художника бензиновой гарью, исчез. Рысак, выбрасывая сильные ноги, помчался по Мясницкой, да разве догнать...

Удивлённо-весёлые, широко открытые глаза и улыбающийся рот — этого выражения не было нигде. Фотографии были тождественные, серьёзные: профиль, анфас, опять профиль, три четверти. Дзержинский у телефона. Дзержинский среди своих сотрудников. И по фотографии видно, как не любит он сниматься и как не до этого ему...

Похож ли он на карточках?

Наверное, похож, но совсем не похож на того Дзержинского, которого художник видел давеча в автомобиле на Мясницкой.

Нет, рисовать по фотографии абсолютно невозможно!

И художник стал искать человека, который свёл бы его с Дзержинским.

Искал он долго и безуспешно до тех пор, пока один знакомый комиссар ЧК не посоветовал ему бросить раз навсегда всякие попытки попасть к Дзержинскому по знакомству.

— Но что же мне делать?— спросил художник.— Ведь должен я попасть к нему обязательно.

— Ну и идите.

— Меня же не пустят.

— А вы попробуйте.

— Чего же пробовать, когда это безнадёжно.

— А вы всё-таки попробуйте. Запишитесь на приём. И скажите отцу прямо и честно, что вы хотите рисовать...

— Какому отцу?— не понял художник.

Комиссар слегка порозовел, поправил очки и, глядя в сторону, объяснил, кого чекисты называют отцом. Было странно слышать, как старый седой человек, запинаясь от неловкости, с суровой и грубоватой нежностью говорит об отце чекистов, значительно более молодом, чем многие из его «сыновей».

— Да-с,— сказал он в заключение,— из моих слов вы можете без особого труда догадаться, что к Дзержинскому по знакомству не попадают. Если у него есть хоть одна секунда времени, он вас примет без всяких знакомств, а если времени у него нет, то он вас не примет, от кого бы вы ни



пришли. Так что мой вам совет, дорогой юноша: попытайтесь. Попытка не пытка, а спрос не беда. В одном я вас могу уверить со спокойной совестью: с вами будут абсолютно вежливы, и если вам будет отказано, то в такой форме, что вы обиды не испытаете.

— Я должен написать его портрет!— сказал художник.

— Желаю вам удачи,— ответил комиссар.

В дежурной он прождал около часу, курил и обдумывал, как он войдёт к председателю ЧК и что он ему скажет. Он приготовил короткую и убедительную речь; ему казалось, что речь хороша и выразительна. Несколько раз в уме он повторил всё с первого до последнего слова и остался доволен собой.

Наконец дежурный вызвал художника и протянул ему пропуск. Художник вошёл к секретарю Дзержинского и не очень вразумительно рассказал: он художник, хочет писать портрет Дзержинского, это необходимо и об отказе не может быть и речи...

Секретарь терпеливо слушал, молча смотрел на художника и ладонью поглаживал гладко выбритый подбородок.

Наконец красноречие художника иссякло, и он смолк.

— Я вас совершенно понимаю,— произнёс секретарь,— но вся беда заключается в том, что Феликс Эдмундович чрезвычайно занят. Очень занят. Занят всегда, постоянно, круглый год.

— Я должен его писать,— решительно ответил художник,— понимаете, должен. У меня нет другого выхода. Писать портрет Дзержинского — это мой долг.

Секретарь вздохнул. Он уже с любопытством смотрел на художника: какой молодой, а какой напористый! И сердитый. Минуту посидел, рассердился и заходил по комнате, от папиросы отказался, закурил свою.

— Значит, никак нельзя?

— Предполагаю, что невозможно.

— Тогда разрешите мне повидать товарища Дзержинского,— сухо сказал художник,— я не задержу его более трёх минут.

— Заде́ржите,— ответил секретарь.

Художник молчал.

Секретарь вздохнул и вышел. Вернувшись, сказал:

— Идите, но...— Махнул рукой и не кончил начатую было фразу.

С бьющимся сердцем художник отворил дверь.

Комната, в которую он вошёл, была вся залита солнечным светом. Дзержинский сидел за столом, слегка подняв голову, приглядывался к посетителю. Художник назвал себя. Приготовленную речь он забыл. Теперь у него возникла новая идея: если Дзержинский откажется позировать, то сейчас затянет разговор, просидит здесь возможно дольше, чтобы запомнить лицо, глаза, рот, лоб, мгновенные изменения в выражении лица, повороты головы, манеру сидеть за столом, щуриться, улыбаться, сердиться.

Главное, чтобы не выгнал. Пусть говорит, что не может. Конечно, не может. Ясно, не может. Но художник будет сидеть. Будет впитывать, как губка, все особенности этой комнаты. Телефоны на столе — какая их масса,— ширма, за ширмой кровать, покрытая простым солдатским одеялом, шкаф; шинель висит на крючке...

— Я очень занят,— как сквозь сон услышал художник,— очень. Может быть, можно как-нибудь обойтись без портрета?

В голосе Дзержинского звучала почти мольба. Глаза же смотрели вежливо, холодно и внимательно.

— Ваш портрет необходим для выставки,— произнёс художник,— категорически необходим.

— Мне некогда позировать.

— Я постараюсь вас мало беспокоить и поскорее кончить.

Он говорил, совершенно не надеясь на успех, только для того, чтобы не уходить из кабинета, чтобы запомнить ещё складки гимнастёрки, лукавую усмешку. Кстати, почему он улыбается? Длинные пальцы, глаза с красноватыми жилками, любопытные, внимательные...

— А может быть, можно не рисовать меня?

— Нет, нельзя.

— Неужели так необходим мой портрет?

— Нет, нельзя...

Дзержинский внезапно рассмеялся.

Чему он? Вероятно, художник что-нибудь сказал невпопад?

— Какими сердитыми глазами вы смотрите на меня,— сказал Дзержинский.

Сейчас у него совершенно другое выражение лица. Но над чем он смеётся? Впрочем, это не важно. Важно запомнить это выражение, только запомнить, всё остальное не важно!

Но вдруг художник услышал слова странные и совершенно неожиданные:

— Хорошо. Приходите сюда и работайте. Только я тоже всё время буду работать. Позировать мне некогда. Мы оба будем работать — каждый по своей части — и постараемся не мешать друг другу. Идёт?

Это была полная победа. Выйдя из кабинета, художник прошёл мимо секретаря, высоко подняв голову.

На следующее утро художник получил лошадь и на извозчике перевёз в секретариат тяжёлый мольберт, ящик с красками, подрамник с холстом, коробку с кистями и многое другое, необходимое для работы.

— Всё или ещё поедете?— спросил секретарь, неодобрительно оглядывая инвентарь художника.

— Всё,— сухо ответил художник.

Пока Дзержинского не было, он выбрал себе место в кабинете, установил мольберт, поставил ящик с красками и сел на стул покурить. Вошёл секретарь, спросил:

— В полной боевой готовности?

— Да,— коротко ответил художник.

Приехал Дзержинский, поздоровался и молча сел работать. Художник сидел не двигаясь, изучал цвет лица, костюм, приглядывался к рукам. Компоновал, обдумывал, решал, но в этот день так ничего и не решил и тихонько, не прощаясь, чтобы не мешать, вышел.

На следующее утро секретарь сказал ему, кивнув на совершенно чистое полотно:

— Я вижу, вы здорово поработали вчера?

В это утро художник взял в руку уголь и стал набрасывать на холсте контуры будущего портрета. Работа не удавалась. Порою он встречался с Дзержинским глазами, и тогда ему казалось, что в глазах Феликса Эдмундовича мелькает лукавый огонёк. Казалось, Дзержинский говорил: «Что? Трудно? Всё равно позировать не буду!»

Так прошло несколько дней.

Осень стояла погожая, тихая, солнечная; окна в кабинете постоянно держали открытыми, тишину нарушали только секретарь да телефонные звонки.

Дзержинский сидел за своим письменным столом почти всегда в одной и той же позе: наклонившись над бумагами, с карандашом в руке. На худое лицо падали тени от ресниц. Много курил. Однажды, закуривая, спросил у художника:

— Вас не раздражает?

— Что?

— Табак. То, что я курю.

— Я ведь сам курю, Феликс Эдмундович.

— Почему же я не видел вас с папиросой? Курите, пожалуйста, не стесняйтесь.

Уже шла работа красками. Как-то, досадуя на то, что Дзержинский слишком низко опустил голову над бумагами, художник попросил:

— Посмотрите на меня.

Дзержинский поднял голову. В глазах мелькнуло удивление.

— Одну только минуту смотрите на меня,— с мольбой и отчаянием в голосе сказал художник.

Секунду Дзержинский смотрел серьёзно, потом вдруг засмеялся и сказал:

— Когда вам понадобится, вы мне говорите, пожалуйста. Я буду на вас смотреть...

Но когда художник попросил, чтобы Дзержинский посидел в такой позе, которая нужна была для портрета, Феликс Эдмундович почти с ужасом воскликнул:

— Позировать?

— Только минуту,— попросил художник.

Позировать ему было некогда; позируя, он чувствовал себя неловко, но он видел, как мучается художник, и жалел его.

— Ну, давайте, я специально для вас посижу,— предложил он однажды,— хотите? Только недолго. Как надо сидеть?— Рассердился и тотчас же засмеялся:— Беда мне с вами!

Зазвонил телефон. Дзержинский взял трубку, долго слушал молча, потом заговорил.

— Всё это враки,— сказал он,— вздор, несерьёзная чепуха. Я вчера сам был на городской станции в этом... в этом... как его...

— В «Метрополе»,— подсказал художник.

— Да, в «Метрополе». Это чистейшее безобразие — то, что там происходит. Желающие ехать записываются у одного из предприимчивых пассажиров, потом приходят на перекличку вечером, к десяти часам, потом утром, часов в пять. Совершеннейшее безобразие!— Он ещё помолчал, потом крикнул в трубку:— Враки! Я сам пробыл там полночи, а вы ничего не знаете. Тот, кто записывает очередь, получает пять процентов стоимости билета, это я точно знаю, это мне доподлинно известно. Я стоял в хвосте и всё узнал. Так что извольте поручить кому-либо из ТОГПУ выяснить всю постановку дела, только без шума. И пусть доложат мне, надо это всё упорядочить...

Положив трубку, он закурил, потом сказал художнику:

— Надоело. Попадётся такой работник — хлебнёшь с ним горя.

Уезжая домой, он спросил художника:

— Отвезти вас?

— Пожалуйста, если вам по пути.

Он снял с вешалки шинель, оделся и подождал художника. Красивое бледное лицо Дзержинского выглядело усталым, он то и дело закрывал глаза и, когда спускались по лестнице мимо напряжённо глядящих часовых, спрашивал:

— Очень устаёте? Это, наверно, очень трудно — рисовать? И похудели вы за это время. Главное, чего волноваться? Портрет у вас получается отличный.

С этого дня Дзержинский по утрам заезжал за художником, а вечерами отвозил его домой. Как-то по пути домой зашла речь вообще о живописи, и Дзержинский обнаружил незаурядные познания в ней. Художник спросил, рисовал ли Дзержинского кто-нибудь.

— Рисовал,— сказал Дзержинский,— был один, рисовал. Только не дорисовал. Я ему перестал позировать. Знаете почему?

— Почему?— спросил художник.

— Потому что он стал у меня просить железнодорожные билеты. Всё у него жена куда-то ездила. Ну вот... он,

бывало, порисует немного и билет попросит. А я билетами не распоряжаюсь. Так он меня и не дорисовал...

Когда проезжали через Арбатскую площадь, Дзержинский спросил:

— Это что за здание?— И показал рукой на ресторан «Прага».

Художник сказал, что это очень противный ресторан дореволюционного пошиба.

— Ничего не поделаешь,— ответил Дзержинский.— Нам эти пивные и рестораны оплачивают пятьдесят процентов расходов на народное образование... Такая, знаете, штука...

Отношения с секретарём у художника оставались прохладными. Разговаривали обычно в ироническом тоне. Однажды секретарь сказал:

— Я, знаете ли, совсем привык к вам. Мне кажется, что мы ещё долго будем вместе. Может быть, состаримся — вы за картиной, я за своим столом. Как вы думаете?

Художник промолчал. В этот день Дзержинский предложил художнику билеты на концерт.

— Спасибо, не поеду,— сказал художник.— Работа у меня идёт отвратительно, поеду домой, подумаю. Какие уж тут концерты! Мне посторонние впечатления будут только мешать.

Дзержинский улыбнулся одними губами.

— Что же делать тем, которые всю жизнь очень заняты?— спросил он.

— Не знаю,— сказал художник.

Два последних дня Дзержинский позировал по часу.

На прощание он дал слово позировать художнику как-нибудь потом, специально для профиля. Но попрощаться не успел. Зазвонил телефон, и Дзержинский снял трубку. А секретарь в это время уже выносил из кабинета мольберт, ящики и коробки...

— Пожили — пора и честь знать,— говорил он, провожая художника.— Смотрите, какую вы нам тут грязь завели...

И нельзя было понять, серьёзно он говорит или шутит, этот секретарь.

Через три года художник опять рисовал Дзержинского.

Художник рисовал Феликса Эдмундовича в гробу.

Лицо Дзержинского было таким же красивым, тонким и усталым, как и при жизни. Высокий лоб был изборождён морщинками, и от ресниц падали тени...

Художник рисовал по ночам, с трёх до шести утра.

В зале стояла тишина, пахло еловыми ветвями, у гроба неподвижно стоял караул.

К художнику подошёл секретарь, постаревший, с мешками у глаз; увидел рисунок, губы у него задрожали.

— Вот рисуете,— сказал он,— как тогда...

Отвернулся и замолчал. Потом вдруг заговорил, близко наклоняясь к лицу художника, не сдерживая слёз:

— Вы знаете, что он сказал в день своей смерти, знаете? За несколько часов? Он сказал на пленуме ЦК и ЦКК, что...— секретарь задохнулся и замотал головой,— что... «моя сила заключается в чём? Я не щажу себя никогда». И все с мест закричали: «Правильно!» Он оглядел зал и дальше стал говорить: «Я не щажу себя... Никогда. И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них...»

Он опять задохнулся от душивших его слёз, ушёл в угол зала и долго стоял там в полутьме, прислонившись лбом к холодной стене...

В эту ночь, уже под утро, к гробу пришёл Орджоникидзе, стоял долго, не двигаясь, и смотрел в мёртвое лицо Дзержинского, потом поправил подушку под головой Феликса Эдмундовича...

У гроба подолгу стояли боевые товарищи... Тут видел художник жену и сына Дзержинского.

И странное дело: рисуя мёртвого Дзержинского, художник думал о нём как о живом. Теперь всё чаще и чаще он представлял себе Мясницкую в тот знойный летний день, автомобиль и Дзержинского, протянувшего руку к недоуздку рысака... Или вспоминал глаза Дзержинского — тогда, когда он писал в кабинете портрет и просил поглядеть одну минуту,— прекрасные глаза, и весёлые, и сердитые в одно и то же время.

Юрий Герман написал много книг для взрослых. По его произведениям ставились кинофильмы, пьесы. Он писал о жизни людей самых различных профессий, его интересовала история нашей Родины.

На всю жизнь в памяти писателя остались картины войны. В четырнадцатилетнем возрасте, когда шла первая мировая война, он то с батареей отца, то с госпиталем — вместе с матерью — «кочевал» по стране, жил среди солдат.

Одним из самых любимых героев Юрия Германа был Ф. Э. Дзержинский. Герман хорошо знал жизнь чекистов. Много замечательных людей — работников уголовного розыска изобразил он в своих рассказах. В Дзержинском Юрия Германа привлекала всегда его вера в человека. Ему он посвятил много произведений для взрослых и для детей.

СОДЕРЖАНИЕ

Герман Ю. П.

Г38 Рассказы о Дзержинском: Для мл. шк. возраста /Худож. Е. И. Аносов.— К.: Веселка, 1987.— 84 с.: ил.

Рассказы русского советского писателя о пламенном революционере, председателе ВЧК, сподвижнике Ленина Феликсе Эдмундовиче Дзержинском.

Г $\frac{4803010102—003}{М206(04)—87}$ 46.87. **84Р7—44**

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Юрий Павлович Герман

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ

Для младшего школьного возраста

Художник Евгений Иванович Аносов

Редактор З. И. Калиниченко
Художественный редактор К. И. Сулима
Технический редактор Л. В. Маслова
Корректор Л. В. Островская

Информ. бланк № 3411.

**Сдано в набор 21.05.86. Подписано к печати 08.07.86.
Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 2.
Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,5.
Усл. кр. отт. 6. Уч.-изд. л. 3,82. Тираж 500 000 экз.
(1-й завод 1—250 000 экз.). Заказ 986-6. Цена 15 к.**

**Ордена Дружбы народов издательство «Веселка».
252050, Киев-50, Мельникова, 63.**

**Львовская книжная фабрика «Атлас».
290005, Львов-5, Зеленая, 20.**

Дорогой друг!

Ты прочитал книгу Юрия Германа
«Рассказы о Дзержинском».
Напиши нам, что тебе в ней понравилось,
больше всего запомнилось и почему.
Не забудь указать свой адрес и возраст.

Отзыв присылай по адресу:

252050, Киев-50, ул. Мельникова, 63.
Дом детской книги.

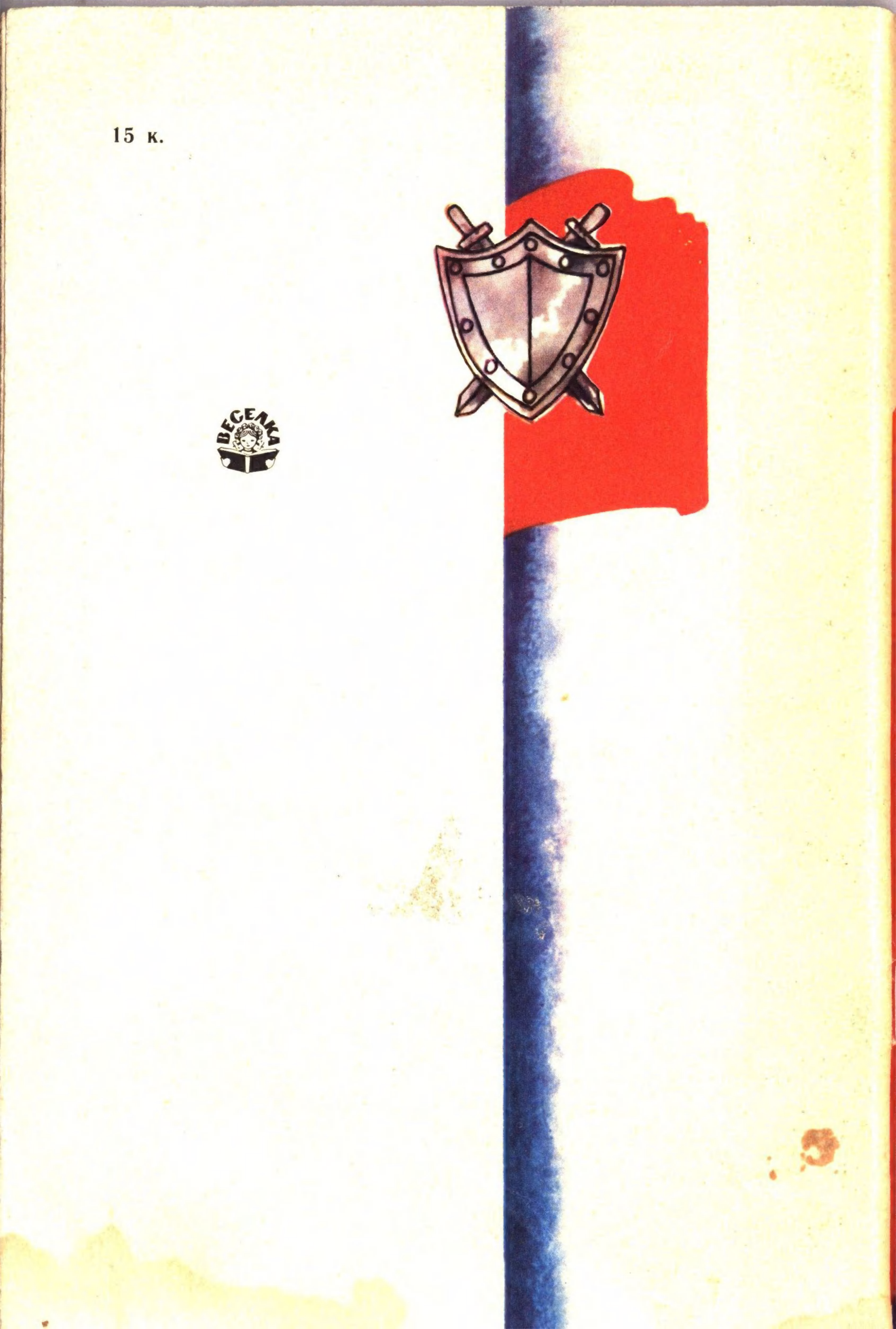
Издательство «Веселка»
основано в марте 1934 года.

Ежегодно издаёт 240—250 названий книг
общим тиражом 41 миллион экземпляров.

Издаёт
украинскую литературу —
советскую и дооктябрьскую,
литературу народов СССР
и стран социалистического содружества,
произведения прогрессивных
писателей мира.

Переводит
литературу с 49 языков народов СССР
и 40 языков зарубежных стран.

Экспортирует
книги в 128 стран мира.


15 к.
ВЕСЕЛКА